

ЕВА ВЕРЕСОВА

Любовь по Запаху, или Слепая сыщица из Тихого Брода



Ева Вересова

**Любовь по запаху, или Слепая
сыщица из Тихого Брода**

«Автор»

2026

Вересова Е.

Любовь по запаху, или Слепая сыщица из Тихого Брода /
Е. Вересова — «Автор», 2026

Я не вижу с девяти лет. Зато слышу, как у человека сбивается сердце, когда он врёт, и чую ложь под самыми дорогими духами. Поэтому, когда в Тихий Брод приехал караван «Ароматы Юга», а весь город вдруг начал влюбляться — бургомистр поёт серенады собственной жене, одноногий Олаф делает предложение жрице, а мельник носит жене цветы охапками и забывает запустить мельницу, — я сразу поняла: дело нечисто. Пахнет фиалками. И мандрагорой. Королевский сыск взял меня в нюхачи. Мой старший брат-инспектор против. Красавец Жюльен из каравана дарит мне фиалки. А тихий Петер, который каждую среду приносит мне серебряный цветок и не может сказать двух слов подряд, по ошибке выпил приворотное зелье, предназначенное мне. И теперь он поёт под моим окном. Вот только как понять, где любовь, а где зелье, если сердце у него стучит одинаково? Самостоятельная история из цикла «Травницы Тихого Брода». Героев первых двух книг вы тоже встретите.

© Вересова Е., 2026

© Автор, 2026

Ева Вересова

Любовь по запаху, или Слепая сыщица из Тихого Брода

Ева Вересова
**Любовь по запаху,
или Слепая сыщица из Тихого Брода**
Травницы Тихого Брода. Книга третья

Аннотация

Я не вижу с девяти лет. Зато слышу, как у человека сбивается сердце, когда он врёт, и чую ложь под самыми дорогими духами.

Поэтому, когда в Тихий Брод приехал караван «Ароматы Юга», а весь город вдруг начал влюбляться — бургомистр поёт серенады собственной жене, одноногий Олаф делает предложение жрице, а мельник носит жене цветы охапками и забывает запустить мельницу, — я сразу поняла: дело нечисто. Пахнет фиалками. И мандрагорой.

Королевский сыск взял меня в нюхачи. Мой старший брат-инспектор против. Красавец Жюльен из каравана дарит мне фиалки. А тихий Петер, который каждую среду приносит мне серебряный цветок и не может сказать двух слов подряд, по ошибке выпил приворотное зелье, предназначенное мне.

И теперь он поёт под моим окном.

Вот только как понять, где любовь, а где зелье, если сердце у него стучит одинаково?

Часть первая. Запах беды

Глава 1. В которой я вижу утро

Утро в Тихом Броде начинается с хлеба.

Не с петухов — петухи орут в четыре, когда ещё темно, а в темноте для меня утро не начинается. Не с колокола на ратуше — колокол бьёт в шесть, но к шести утро уже давно идёт. Не с солнца — солнце я не вижу.

С хлеба.

Ровно в пять Бруна открывает заслонку большой печи в своей пекарне на площади. И первый запах — тёплый, сладковатый, дрожжевой, с корочкой — поднимается над крышами, перелетает через храм, катится по Полынной улице, спускается к реке и влетает ко мне в окно.

Я просыпаюсь. Лежу с закрытыми глазами — хотя какая разница, открытыми или закрытыми, — и нюхаю.

Хлеб. Ржаной сегодня. И с тмином. Бруна печёт ржаной с тмином по средам.

Значит, среда.

Потом — река. Ива под окном. Она пахнет по-разному. Весной — талым снегом и илом. Летом — тиной, кувшинками и тёплыми камнями. Сейчас конец апреля, и она пахнет холодной водой, молодой травой на берегу и чуть-чуть рыбой. Это значит, мельник уже поставил верши.

Потом — сад. Мята под окном. Лаванда — ещё не цветёт, но листья уже пахнут, если ветер. Полынь — вдоль всей дорожки, у крыльца, под Алиным окном. Горькая, серебристая. Ильза её сажала прошлой весной. Специально. Чтобы Ала чихал.

Ала чихает каждое утро. Три раза. Выходит на крыльцо, вдыхает — и чихает. Потом говорит: «Хорошее утро». Ильза смеётся.

Вот и сейчас.

Скрип двери внизу. Шаги на крыльце — ровные, одинаковые, ни одного лишнего. Вдох. Глубокий.

— Апчхи! — Пауза. — Апчхи! — Пауза. — Апчхи!

— Хорошее утро, — говорит мой брат.

— Хорошее, — сонно отвечает из спальни Ильза. — Принеси мне огурец.

— Ильза, сейчас пять утра.

— Огурец, Аларик. Солёный. Из бочки. Это не я хочу. Это он хочет.

— Откуда ты знаешь, что он?

— Потому что «она» не стала бы так пинаться, — говорит Ильза. — Огурец!

Шаги. Обратно в дом. К погребу. Скрип крышки бочки.

Я лежу в постели и улыбаюсь.

Ильзе рожать через два месяца. В конце июня. Она круглая, как тыква, — я трогала, она разрешает. Ей запретили лабораторию. Совсем. Её отец, мэтр Гроссе, сказал: «Если ты, беременная, подойдёшь к котлу хоть на шаг, я тебя привяжу к кровати». Ильза сказала, что он не посмеет. Мэтр Гроссе привёл в свидетели Агату, графа Холта и мою вдову Мартенс. Ильза сдалась.

Теперь она лежит на диване в гостиной, командует всеми, ест солёные огурцы с мёдом (это отвратительно, я пробовала) и диктует Але рецепты, которые придумывает. Ала записывает. В свою книгу. Он уже исписал половину.

Он говорит, это — лучшее, что с ним случилось в жизни.

Я верю. У него сердце стучит медленно и ровно, когда он это говорит. Без запинки.

* * *

Я встаю.

Комнату я знаю наизусть. Восемь шагов от кровати до окна. Пять — до двери. Три — до умывальника. Сундук слева от двери, край у него острый, я об него ударила в первый день и больше не ударяюсь. Стул у окна. На стуле — моё платье. Вдова Мартенс положила вечером. Серое, с синей лентой. Я знаю, потому что лента — шёлковая, гладкая, а синие ленты у меня все шёлковые, а другие — нет.

Вдова Мартенс говорит, что синий мне идёт. Я ей верю. Не потому, что у неё сердце ровное, когда она это говорит — у неё всегда ровное, она вообще никогда не врёт, потому что не умеет. А потому, что мама тоже так говорила. Девять лет назад. Когда я ещё видела.

Я помню синий.

Это странно. Я плохо помню мамино лицо. Помню голос. Помню руки — тонкие, исколотые иголкой. Помню запах — нитки, крахмал и почему-то яблоки. А лицо — плохо. Как сквозь воду.

А синий — помню. Ярко. Как будто вчера. Небо над Кожевенной улицей в мае. Синее-синее. И голуби на крыше.

Я одеваюсь. Заплетаю косу — сама, мне не нужна помощь, я заплетаю с семи лет. Беру трость. Белую, с медным наконечником. Ала подарил. Он сказал, что белая — по Положению о вспомогательных средствах для незрячих, параграф третий. Чтобы все видели и уступали дорогу.

Я сказала, что мне не надо, чтобы уступали. Я сама кого хочешь обойду.

Он сказал: «Это не тебе. Это им. Чтобы они не наступали тебе на ноги».

Ну ладно.

Спускаюсь по лестнице. Четырнадцать ступенек. Седьмая скрипит. Двенадцатая — тоже, но тише.

Внизу — кухня. Запах: овсянка (вдова Мартенс варит), кофе (Ала), солёный огурец (Ильза), мёд (тоже Ильза, ужас), и ещё — лаванда. Мой. Вдова Мартенс моет мне волосы лавандовой водой каждую субботу. Девять лет.

— Доброе утро, Лотта, — говорит Ала. Он у стола. Слева. В двух шагах. Режет хлеб — я слышу, как нож входит в корку.

— Доброе. Ты чихал.

— Чихал.

— Три раза.

— Три. — Пауза. — Как всегда.

— А сегодня — по-другому, — говорю я. Сажусь за стол. На своё место. Третий стул справа. — Сегодня — сначала два быстро, а третий — с задержкой. Ты что-то вспомнил между вторым и третьим.

Нож останавливается.

— Лотта, — говорит Ала.

— Что?

— Иногда мне страшно, что ты так слышишь.

— А мне иногда страшно, что ты так не слышишь, — говорю я. — Что ты вспомнил?

Ала молчит. Потом — нож снова режет хлеб.

— Письмо, — говорит он. — От Менделя. Вчера пришло. Палата присылает в Северный округ партию новых духов. Для проверки. «Ароматы Юга». Какой-то караван. Едет по северным городам. Торгует духами. Мендель пишет — в Глинске на них жаловались.

— Почему?

— Он не пишет почему, — говорит Ала. — Пишет: «Проверь, Ройс. Что-то с ними не так. Нюхай». — Пауза. — Он подчеркнул «нюхай». Дважды.

Я смеюсь.

Мендель знает. Что Ала теперь нюхает. Он два года назад первым это узнал — после Ильзино зелья. Он теперь каждое письмо подписывает: «И понюхай что-нибудь хорошее, Ройс. Пиши, чем пахнет».

— А когда они приедут? — спрашиваю я.

— Мендель пишет — на этой неделе. В Тихий Брод. Должны были вчера.

— Значит, сегодня.

— Почему сегодня?

Я поднимаю лицо. К окну. Ветер оттуда — с площади. С севера. С тракта.

И в ветре, сквозь хлеб, сквозь реку, сквозь полынь — тонкая, сладкая, чужая струйка.

Фиалки.

Много фиалок. Слишком много для конца апреля. Фиалки в Тихом Броде цветут в мае. И пахнут они не так. Наши — тихо, сыро, лесом. А эти — громко. Сладко. Жирно. Как помада на щеках у графини Ленц, которая жила напротив нас в столице и душилась так, что я её чуяла за три улицы.

— Потому что они уже едут, — говорю я. — Я их чую.

* * *

До урока у меня два часа.

Урок не мой. Мотин.

Да. У мандрагоры есть урок. В школе «Под полынью» — по вторникам и средам, с девяти до одиннадцати. Называется «Нюх». Агата сначала смеялась, а потом сказала: «Почему бы и нет». И внесла в расписание. Аларик проверил по Уставу Палаты — оказалось, ничего не запрещает мандрагорам вести уроки. «В Уставе вообще нет ничего про мандрагор, — сказал он задумчиво. — Это упущение».

На уроке — пятеро учеников. Мы сидим вокруг большого стола в школьной кухне. С завязанными глазами. Все, кроме меня. Мне завязывать не надо.

Мотя сидит в своём горшке посреди стола. Рядом с ней — Кеша на жёрдочке. Кеша — её муж. Попугай. Они «поженились» два года назад. Жрица Олеа сказала, что не знает, как

венчать мандрагору с попугаем, но Мать-Земля, наверное, не против. Мотя говорит, это был лучший день в её жизни. Кеша говорит: «Мотя хорошая». Он вообще говорит только это. И ещё «Эля!» и «Магистр Линд — зануда!». Но с Мотей это — достаточно.

Сегодня Мотя даёт нам нюхать травы. По очереди. Тим подаёт пучки.

— Это что? — Голос Моти. Скрипучий, ворчливый, с самого дна горшка.

Нюхаю.

Сухое. Пыльное. Тёплое. Чуть-чуть лимон. И чуть-чуть — мыло.

— Мелисса, — говорю я. — Прошлогодня. С чердака. Её сушили на солнце, а не в тени, поэтому лимона мало.

Тишина.

— Правильно, — говорит Мотя. Неохотно. — Опять правильно. Скучно с тобой, слепая.

— Мотя, — говорит Нелли. Ей десять. Она сидит справа. У неё завязаны глаза, и она всё время подглядывает из-под повязки — я слышу, как она поворачивает голову к свету. — А почему у Лотты всегда правильно, а у меня — никогда?

— Потому что ты подглядываешь, — говорит Мотя. — А она — нюхает.

— Я не подглядываю!

У Нелли сердце делает маленький скачок. Как зайчик через кочку.

— Подглядываешь, — говорю я.

— Лотта!

— Сердце, — говорю я. — Скачет.

Нелли фыркает и, судя по шороху, поправляет повязку.

Тим подаёт следующий пучок. Мне.

Я подношу к носу.

И замираю.

Это не трава. Ну, не совсем трава. Это... Холод. Свежий, звонкий, как первый снег. Мёд — тонко-тонко. И ещё что-то, для чего у меня нет слова. Как будто... Как будто утро. После грозы. Когда открываешь окно.

Сонник.

Свежий. Только что срезанный. Ещё живой.

— Петер, — говорю я.

Тишина в кухне. Потом — хихиканье. Нелли. И Тим. И кто-то из девочек с выселок.

— Это не Петер, — говорит Мотя. С невыразимым ехидством. — Это сонник.

— Я знаю, что это сонник, — говорю я. — Но принёс его Петер.

Мотя молчит.

— Он стоит в дверях, — говорю я. — Уже минуты две. Справа. Пахнет мукой, рекой и полынью. И у него сердце стучит, как мельничное колесо в паводок.

У дверей кто-то кашляет.

Глухо. Смущённо. Низко.

— Д-доброе утро, — говорит Петер.

* * *

Петер — сын мельника.

Ему девятнадцать. Он большой. Не толстый — большой. Высокий, выше Алы, и широкий в плечах, как дверь в амбар. Я знаю, потому что однажды споткнулась на крыльце школы и упала прямо на него. Это было как упасть на стену. Тёплую стену, которая пахнет мукой.

Он сказал: «Ой». Потом поставил меня на ноги — легко, как перо. Потом сказал: «Ой» ещё раз. И ушёл.

Он вообще мало говорит.

Он работает у Агаты в лаборатории. Варит противоядие. От Серой дрёмы — той страшной серой пыли, которой три года назад злой человек Корвин травил людей. Петер сам ею

отравился — тогда, давно, ему было шестнадцать. Он надышался на складе, где её варили, и шагнул в колодец на площади. С улыбкой. Граф Холт его поймал. Агата его вылечила.

Он мне сам никогда этого не рассказывал. Мне рассказала Бруна. Бруна рассказывает всё.

Теперь Петер варит противоядие лучше всех в королевстве. Так говорит Агата. А Агата никогда не врёт — у неё сердце спокойное, как пруд в безветрие.

И каждую среду — каждую, уже год, с прошлой весны — Петер приносит мне цветок.

Сонник. Один. Самый свежий. Из оранжереи. Агата разрешила.

Он кладёт его мне в руку. Говорит: «Вот». Иногда — «Вот. Свежий». Однажды — «Вот. Свежий. Пахнет. Как ты сказала. Утром». Это была самая длинная его фраза за год.

И уходит.

Я храню их. Все. В сундуке, в коробке из-под Ильзиных леденцов. Засушенные. Их уже сорок семь. Они до сих пор пахнут — слабо-слабо. Утром.

Я никому не говорила, что храню.

Ну, Моте. Мотя сама узнала. Она всегда сама узнаёт.

— Петер, — говорит Мотя. — Ты урок срываешь.

— П-простите. — Шаги. Ближе. Тяжёлые, но осторожные. Он всегда ходит осторожно. Как будто боится что-нибудь задеть. — Я т-только... вот.

Что-то касается моей руки. Прохладное. Живое. Стебель.

Я сжимаю пальцы.

Сонник. Свежий.

— Спасибо, — говорю я.

— П-пожалуйста. — Пауза. Сердце у него — бух, бух, бух, бух. Как будто он бежал. Хотя не бежал. Я бы услышала. — Он... это... с первого куста. Где бутоны раньше всех. Он... пахнет. Как ты г-говорила.

— Утром после грозы.

— Да.

Тишина. Нелли хихикает. Тим толкает её — я слышу шорох рукава.

— Петер, — говорю я.

— Да?

— У тебя мука на щеке.

Пауза.

— Откуда ты з-знаешь?

— Пахнет, — говорю я. — Слева. Выше скулы. Ты чесал лицо, когда сеял муку для отца.

Шорох. Он трёт щёку. Судя по звуку — не ту.

— Слева, — говорю я. — От меня — справа. От тебя — слева.

Шорох. Другая щека.

— Спасибо, — бормочет он.

И уходит. Быстро. Шаги — по коридору, к выходу, по крыльцу. Хлопает дверь.

Я сижу за столом, держу в руке сонник.

— Ох, — говорит Мотя.

— Что «ох»?

— Ничего, — говорит Мотя. — Просто «ох».

— Мотя хорошая, — говорит Кеша.

— Он тебя любит, — говорит Нелли. Громким шёпотом. Как будто это секрет, который никто не знает.

— Не любит, — говорю я. — Он просто приносит цветы. Агата разрешила.

— Любит, — говорит Нелли. — Он покраснел. Весь. Я видела.

— Ты подглядывала.

— Немножко, — признаётся Нелли. — Лотта. А ты его любишь?

Я молчу.

У меня в руке — сонник. Холодный. Живой. Пахнет утром после грозы.

У меня в сундуке — сорок семь таких же. Засушенных.

— Нелли, — говорит Мотя. — Надень повязку. И нюхай. Что это?

Тим подаёт пучок.

— Ромашка, — говорит Нелли. Неуверенно.

— Неправильно. Пижма. Нюхай лучше.

Урок продолжается.

А я держу сонник и думаю о том, что сердце у Петера стучит так же, как у Алы, когда он смотрит на Ильзу. Я слышала. Сто раз.

Но Ала говорит. «Я тебя люблю». «Хорошее утро». «Принести тебе огурец».

А Петер — молчит.

И я не знаю, что значит его сердце.

Сердце — это ведь не слова. Сердце может стучать от чего угодно. От бега. От страха. От того, что неловко. От того, что тебе на уроке говорят про муку на щеке.

Я не знаю.

Я никогда не узнаю, если он не скажет.

* * *

После урока на площади уже стояли повозки.

Я услышала их раньше, чем мы дошли — Нелли тащила меня за руку, Тим нёс Мотю, а Мотя ругала Тима за то, что трясёт. Колёса. Много колёс. Тяжёлые, скрипучие, медленные. Лошади — четыре, нет, шесть. Звон колокольчиков на сбруе. Музыка — гитара, кто-то играл что-то южное, быстрое, весёлое. Голоса. Много голосов. Весь город, кажется, был на площади.

И запахах.

Фиалки. Волной. Как будто кто-то опрокинул на площадь бочку с фиалковой водой.

— Ох, — сказала Нелли. — Ох, Лотта, какие повозки! Расписные! Розовые! И золотые! И на них цветы нарисованы! И написано — «Ароматы Юга»! И флажки! И фонарики! И там такая тётя, в лиловом, с перьями! И дядя с гитарой! Ох, Лотта, какой дядя!

— Какой?

— Красивый, — выдохнула Нелли. — Как принц. Чёрные кудри. И глаза — тоже чёрные. И улыбается.

— Нелли, тебе десять.

— Ну и что? Я же просто смотрю.

Мы протолкались ближе. Нелли — впереди, я — за ней, держась за её плечо, трость — в другой руке. Люди расступались. Это Алин параграф работал — белая трость.

Фиалок стало больше. Гораздо. У меня защипало в носу.

А под фиалками...

Я остановилась.

Под фиалками было что-то ещё. Тонкое. Едва заметное. Сладкое и горькое одновременно. Как сахар на больном зубе. Как мёд, в который упала муха.

Я знала этот запах.

Не знала откуда. Но знала. Где-то очень давно. В каком-то другом месте.

— Мотя, — сказала я тихо. — Ты чувствуешь?

Мотя на руках у Тима молчала. Долго.

Потом сказала. Тихо. Совсем не своим голосом. Не ворчливым. Не скрипучим.

Испуганным.

— Чую, — сказала Мотя. — Ох, слепая. Чую.

— Что это?

Мотя не ответила.

А с середины площади, перекрывая гитару, перекрывая колокольчики, перекрывая шум толпы, раздался женский голос. Низкий, бархатный, сладкий. С южным выговором.

— Дамы и господа! Жители прекрасного Тихого Брода! Позвольте представиться! Мадам Сильвана Мирр! «Ароматы Юга»! Духи, которые исполняют самые заветные желания! Духи взаимности! Одна капля — и тот, кого вы любите, полюбит вас в ответ!

Толпа ахнула.

А у меня по спине — от затылка до самых пяток — побежал холод.

Потому что голос был сладкий. Гладкий. Как масло.

Я уже слышала такой голос.

Девять лет назад. На Кожевенной улице. В подвале.

«Не волнуйтесь, мадам. Три капли — и всё пройдёт».

Глава 2. В которой мне дарят фиалки

— Духи взаимности! — пела мадам Мирр. — Капля на запястье — и сердце, о котором вы мечтаете, забьётся в такт вашему! Капля за ухо — и мужчина, который вас не замечал, не сможет отвести глаз! Капля на платок — и прощай, одиночество!

Толпа гудела. Я слышала, как люди переступают с ноги на ногу. Как шуршат кошельки. Как кто-то шепчет: «Да ну, враньё». И кто-то другой: «А вдруг нет?»

— Сколько? — крикнул женский голос.

Я узнала. Жена бургомистра Пима. Марта Пим. Пахнет розовой водой и вечной обидой. Её муж боится её больше, чем пожара, — так говорит Бруна. А она, говорит Бруна, всю жизнь мечтала, чтобы он хоть раз сказал ей что-нибудь ласковое.

— Для вас, мадам, — пропела мадам Мирр, — всего одна серебряная марка! Маленький флакон! На месяц хватит!

Шорох. Звон монеты.

— И мне! — Мельничиха. Мать Петера. Пахнет мукой и тестом, как всё у них в доме.

— Зачем тебе? — изумилась жена Торвальда рядом с ней. — Ты ж замужем!

— А чтоб мой старый хоть раз в год цветы принёс! — сказала мельничиха. — Двадцать пять лет живём! Ни одного букета!

Смех. Звон монеты.

— И мне! И мне! И мне!

Нелли рядом со мной подпрыгивала.

— Лотта, — шептала она, — Лотта, а давай купим! Одну! Маленькую! Ты капнешь — и Петер...

— Нелли, — сказала я.

— Что?

— У тебя есть серебряная марка?

Нелли подумала.

— Нет, — сказала она грустно.

— Вот и хорошо.

Мотя на руках у Тима молчала. Всё время. С тех пор, как мы вышли на площадь. Это было так странно, что даже Тим заметил.

— Мотя, — сказал он. — Ты чего?

— Отнеси меня домой, — сказала Мотя. Тихо. — Пожалуйста.

Тим чуть не уронил горшок.

Мотя никогда не говорила «пожалуйста». Никогда. За два года, что я её знаю. Даже Але. Даже Агате.

— Мотя, — сказала я. — Что случилось?

— Дома скажу, — сказала Мотя. — Тут — нельзя. Тут... — Она помолчала. — Тут воняет.

— Фиалками?

— Нет, — сказала Мотя. — Не фиалками.

Тим посмотрел на меня. Я почувствовала его взгляд — он у него тяжёлый, растерянный.

— Неси, — сказала я.

Тим унёс Мотю.

Мы с Нелли остались на площади.

* * *

— Мадемуазель.

Голос раздался совсем рядом. Справа. Мужской. Молодой. Низкий, бархатный, с тем же южным выговором, что у мадам Мирр. И — улыбающийся. Я слышала улыбку. Когда люди улыбаются, у них голос становится чуть-чуть шире.

Я повернулась.

Фиалки. Сильно. От него. Как будто он в них купался. А под ними — что-то тёплое, мужское, кожаное. Кожа от гитарного ремня. Табак — лёгкий, сладкий, южный. Вино. И ещё...

И ещё — ничего.

Это было странно. У каждого человека есть свой запах. Под всеми духами, под всем мылом, под всеми травами — свой. У Алы — чернила и бумага, а теперь ещё и полынь. У Ильзы — имбирь и дым. У Петера — мука и река. У вдовы Мартенс — лакрица и крахмал.

А у этого — ничего. Как будто под фиалками была пустота. Как будто его самого там не было. Только духи.

— Мадемуазель, — повторил голос. — Простите мою дерзость. Я заметил вас из повозки. Вы единственная на всей площади не смотрите на мою тётку.

— Я ни на кого не смотрю, — сказала я.

Пауза.

Я подняла трость. Чуть-чуть. Чтобы он увидел. Белую. По параграфу.

— О, — сказал голос. Совсем другим тоном. Мягче. — Простите. Я не... Простите.

— Ничего, — сказала я. — Все сначала так говорят.

— Тогда позвольте представиться, — сказал он. Шорох — он, кажется, поклонился. Шляпой по воздуху — я слышала, как перо прошуршало. — Жюльен Мирр. Племянник мадам Мирр. Её помощник, её гитарист, её носильщик и, по совместительству, — он понизил голос, — единственный мужчина в караване, который не боится её до смерти.

Нелли рядом со мной хихикнула.

— А вы, — продолжал Жюльен, — должно быть, мадемуазель Ройс. Сестра господина инспектора.

Я замерла.

— Откуда вы знаете?

— О, весь город говорит. — Он засмеялся. Легко, звонко. — Мы приехали час назад, а я уже знаю всё. Что здесь есть инспектор Палаты, который не чувствовал запахов двадцать три года, а потом вдруг начал. Что у него жена — зельевар, изобретательница огнегасящего зелья. И что у него есть сестра. Слепая. Которая слышит, как бьётся сердце. — Пауза. — Это правда, мадемуазель? Вы слышите, как бьётся сердце?

— Слышу, — сказала я.

— И моё?

— И ваше.

— И как оно бьётся?

Я прислушалась.

Он стоял в двух шагах. Близко. Я слышала его дыхание — ровное, неглубокое, спокойное. И сердце.

Тук. Тук. Тук. Тук.

Ровно. Медленно. Как маятник у Алы на часах. Совершенно спокойно.

— Ровно, — сказала я.

— Это хорошо?

— Это значит, вы не волнуетесь.

— Я и не волнуюсь, — сказал Жюльен. — Я в восхищении. — Шорох. Что-то протянулось ко мне. — Позвольте.

Что-то коснулось моей руки. Мягкое. Прохладное. Букетик. Маленький. Цветы.

Фиалки.

Я поднесла их к лицу.

Это были настоящие фиалки. Живые. Не наши, не северные — южные, крупные, мясистые, с длинными стеблями. Они пахли сладко, громко, жирно. Как помада.

— Мы везём их с юга, — сказал Жюльен. — В бочках с водой. Для духов. Но эти — для вас. Они почти такого же цвета, как ваши глаза.

Тук. Тук. Тук. Тук.

Ровно.

Я опустила букетик.

— Какого цвета мои глаза? — спросила я.

Пауза. Совсем маленькая.

— Светлые, — сказал Жюльен. — Серые. С голубым. Как небо над морем на рассвете.

Тук. Тук. Тук. Тук.

Ровно.

— А фиалки — какого цвета? — спросила я.

— Лиловые, — сказал он. — Тёмно-лиловые. С жёлтой серединкой.

— Значит, мои глаза не такого цвета, как фиалки, — сказала я.

Пауза. Подлиннее.

А потом он засмеялся. Снова — легко, весело, звонко.

— Вы меня поймали, мадемуазель! — сказал он. — Вы меня поймали! Я сказал глупость. Комплимент. Простите. Я южанин. На юге мужчины всегда говорят девушкам глупости. Это у нас в крови. — Пауза. — Но фиалки — всё равно ваши. Даже если глаза не того цвета.

Тук. Тук. Тук. Тук.

Ровно. Даже когда смеялся.

Я никогда не слышала, чтобы у человека не менялось сердце, когда он смеётся.

* * *

— Жюльен!

Голос мадам Мирр. С середины площади. Громкий, бархатный, с ноткой нетерпения.

— Иду, тётушка! — крикнул Жюльен. И тише, мне: — Мадемуазель Ройс. Мы пробудем в Тихом Броду месяц. Может быть, дольше. Мне было бы очень приятно... — Он помолчал. — Если бы вы позволили мне как-нибудь пригласить вас на прогулку. Я бы рассказывал вам, что вижу. А вы бы — что слышите. — Пауза. — Мне кажется, вы слышите больше, чем я вижу.

Тук. Тук. Тук. Тук.

— Может быть, — сказала я.

— Это «да»?

— Это «может быть».

— Тогда я буду надеяться, — сказал он.

Шорох. Перо шляпы. Шаги — лёгкие, быстрые, пружинистые. Удаляются.

Я стояла посреди площади. С букетиком фиалок в руке.

Нелли рядом со мной не дышала.

— Лотта, — прошептала она наконец. — Лотта. Он тебе фиалки подарил.

— Подарил.

— Принц. С чёрными кудрями. Подарил тебе фиалки.

— Подарил, Нелли.

— И пригласил гулять!

— Пригласил.

— Ох, — сказала Нелли. — Ох, Лотта. А Петер?

Я не ответила.

Потому что в этот момент — справа, у колодца, шагах в двадцати — я услышала знакомое сердце.

Бух. Бух. Бух. Бух.

Быстро. Тяжело. Как мельничное колесо.

И почувствовала знакомый запах. Мука. Река. Полынь.

Он стоял там. У колодца. Не знаю, сколько. Может, всё время.

Я повернулась к нему лицом.

Сердце у колодца пропустило удар.

А потом — шаги. Тяжёлые. Быстрые. Прочь. С площади. По улице к мельнице.

Я стояла и слушала, как они затихают.

— Он ушёл, — сказала Нелли. Грустно. — Он видел. И ушёл.

— Знаю.

— Почему он ушёл, Лотта?

Я посмотрела — ну, повернула лицо — туда, где затихли шаги.

— Не знаю, Нелли, — сказала я.

Это была правда. Я не знала.

Потому что он ничего не сказал.

* * *

Мотя ждала меня на кухне в школе.

Тим поставил её на стол. Рядом с Кешей. Кеша сидел на жёрдочке и молчал — я слышала, как он перебирает лапками, туда-сюда, туда-сюда. Он так делает, когда волнуется.

— Мотя, — сказала я. Положила фиалки на стол. — Что случилось?

Мотя молчала.

— Мотя.

— Убери это, — сказала Мотя.

— Что?

— Цветы. Убери. Подальше. В окно выбрось.

— Это просто фиалки.

— Это не просто фиалки, — сказала Мотя. — Они стояли в бочке. С духами. С его духами. Они пропитались. Убери, говорю.

Я взяла букетик. Поднесла к носу. Ещё раз.

Фиалки. Сладкие, громкие, жирные.

И — под ними — тонко. Едва. Сладко и горько. Как сахар на больном зубе. Как мёд, в который упала муха.

То же, что на площади.

— Что это, Мотя? — спросила я. Тихо.

Мотя долго молчала.

— Ты не знаешь, — сказала она наконец. — Ты не можешь знать. Ты человек. Вы этого не чувствуете. Ну, почти не чувствуете. А ты — почти мандрагора. По носу. Ты почуяла. — Пауза. — Но не знаешь — что.

— Скажи.

— Не сейчас, — сказала Мотя. — Мне надо... Мне надо убедиться. Я не уверена. Я давно не... Я двадцать лет такого не чувала. С тех пор, как Ядвига... — Она замолчала.

— Мотя, ты меня пугаешь.

— Хорошо, — сказала Мотя. — Бойся. Это правильно. — Пауза. — И не бери у него ничего. Слышишь, слепая? Ничего. Ни цветов. Ни духов. Ни чаю. Ни пирожка. Ничего.

— Почему?

Мотя не ответила.

Я стояла на кухне. С фиалками в руке.

Потом подошла к окну. Открыла. Высунула руку.

И разжала пальцы.

Букетик упал в крапиву под окном. Мягко. Беззвучно.

— Вот так, — сказала Мотя. — Вот так, умница.

Я закрыла окно. Вытерла руку о платье. Потом ещё раз. Почему-то казалось — пахнет до сих пор.

— Мотя хорошая, — тихо сказал Кеша.

— Молчи, пернатый, — сказала Мотя. Устало. — Ох. Молчи.

* * *

Вечером я рассказала Але.

Мы сидели в гостиной. Ильза — на диване, с огурцом. Ала — в кресле у камина, с книгой. Вдова Мартенс — у окна, с вязанием. Спицы цокали. Цок-цок-цок.

Я рассказала про караван. Про мадам Мирр и её голос — гладкий, как масло. Про духи взаимности. Про Жюльена. Про ровное сердце. Про фиалки, которые я выбросила в крапиву. Про Мотю.

Ала слушал молча. Цок-цок-цок, — вязала вдова Мартенс.

— Мендель писал, — сказал Ала, когда я закончила. — Что в Глинске были жалобы.

— Какие?

— Он не написал. Только «что-то с ними не так». — Пауза. — Завтра я их проверю. Официально. Как инспектор. Возьму образцы. Отправлю в Палату.

— А Мотя?

— Мотя сказала, что не уверена.

— Мотя испугалась, Ала. Мотя никогда не пугается. Она сказала «пожалуйста».

Пауза. Цок-цок-цок.

— Это не доказательство, — сказал Ала.

Я вздохнула.

— Параграф первый, — сказала я. — Сначала наблюдай.

— Да.

— А я наблюдаю. Носом. Ушами.

— Я знаю.

— У него сердце ровное, Ала. Всё время. Когда он говорит комплименты. Когда смеётся. Когда врёт — он соврал про цвет моих глаз, я его поймала, — а сердце не дрогнуло. — Я помолчала. — Так не бывает. У всех дрожит. Даже у тебя. Даже у графа Холта, хотя он умеет держать лицо.

— У меня дрожит? — спросил Ала.

— Когда ты Ильзе огурцы приносишь, — сказала я. — Каждый раз.

С дивана раздался смех. Ильзин.

— Ох, Лотта, — сказала она. — Иди сюда. Сядь.

Я пошла на звук. Села на край дивана. Ильза взяла меня за руку. Её ладонь — тёплая, шершавая от старых ожогов, пахнувшая имбирём и — сейчас — солёным огурцом.

— У него ровное сердце, — повторила Ильза задумчиво. — А что у него под духами?

— Ничего.

— Совсем?

— Совсем. Как будто его нет. Как будто там пустота.

Ильза помолчала.

— Знаешь, кто ещё так пах? — сказала она тихо. — Ничем. Под одеколоном.

— Кто?

— Мэтр Лейн, — сказала Ильза. — Два года назад. Бергамот. А под бергамотом — ничего. Я тогда не поняла. Думала — просто чистоплотный.

В комнате стало тихо. Даже спицы остановились.

— Ильза, — сказал Ала. Очень тихо.

— Я просто говорю, — сказала Ильза. — Я не утверждаю. Параграф первый.

Ала молчал. Долго.

Потом встал. Подошёл к окну. Я слышала, как он отодвинул занавеску. Посмотрел на площадь — там, наверное, ещё горели фонарики на розовых повозках. Ветер нёс оттуда фиалки. Даже сюда. Даже сквозь закрытое окно.

— Завтра, — сказал Ала. — Завтра я их проверю.

И чихнул. От полыни под окном. Один раз.

Неправильно. Обычно — три.

— Ала, — сказала я. — Ты один раз чихнул.

— Да.

— Почему?

Он помолчал.

— Потому что фиалки, — сказал он. — Они перебивают. Полынь. — Пауза. — Я впервые чувствую, как один запах перебивает другой.

— И как?

— Неприятно, — сказал Ала.

Я сидела на диване, держа Ильзу за руку. И думала про букетик в крапиве под окном школьной кухни.

И про Петера. Который стоял у колодца. И ушёл.

И ничего не сказал.

Глава 3. В которой весь город влюбляется

Первой влюбилась мельничиха.

Нет. Не так. Мельничиха была влюблена в мельника двадцать пять лет. Это все знали. Она просто об этом не говорила. Мельник тоже не говорил. Они вообще мало говорили — у них мельница, у мельницы шумит колесо, при таком шуме не поговоришь.

Первым влюбился мельник.

Это случилось на второй день после приезда каравана. Утром. В шесть часов. Я знаю, потому что узнала от Нелли, а Нелли — от Тима, а Тим — от самого Петера, который прибежал в школу без цветка, красный, растерянный, и сказал Агате: «Можно я сегодня не приду в лабораторию? Отец... с отцом что-то не так».

— Что с ним? — спросила Агата.

— Он... — Петер помолчал. Я сидела в кухне, за стеной, на Мотином уроке, и слышала, как у него бухает сердце. — Он мельницу не запустил. Утром. Двадцать пять лет запускал в пять. А сегодня — не запустил.

— Заболел?

— Нет. — Петер помолчал ещё. — Он... он матери завтрак принёс. В постель. С цветами. И стоит. Смотрит. На неё. Уже час. И говорит, что она — «как утренняя заря над рекой».

Тишина.

— Твой отец, — медленно сказала Агата. — Мельник Ганс. Сказал, что твоя мать — как утренняя заря над рекой.

— Да, — сказал Петер несчастно.

— Он стихи пишет?

— Нет. Он и читать-то не очень. — Петер вздохнул. — Мать сначала смеялась. А потом испугалась. Он не ест. Не уходит. Ходит за ней. Как телёнок. Она в погреб — он в погреб. Она в огород — он в огород. Она к колодцу — он ведро несёт. И смотрит. И говорит про зарю.

— Петер, — сказала Агата. — А твоя мать... вчера ничего не покупала? На площади?

Пауза.

— Покупала, — сказал Петер. Медленно. — Духи. У тётки с перьями. Сказала — чтоб отец хоть раз цветы принёс.

Я на кухне перестала дышать.

Мотя на столе зашипела. Тихо. Как кошка.

* * *

Вторым влюбился бургомистр Пим.

Это было ещё смешнее. И ещё страшнее.

Олдрик Пим. Маленький, кругленький, в бархатном жилете, с толстой цепью на шее. Двадцать лет он был бургомистром Тихого Брода — и двадцать лет боялся своей жены больше, чем пожара. Так говорила Бруна. Он прятался от Марты Пим в ратуше. Он засиживался в «Хромом гусе». Он ходил в лес «проверять межевые столбы». Он, говорила Бруна, однажды три дня прожил на чердаке ратуши, потому что разбил её любимую супницу.

На третий день после приезда каравана бургомистр Пим вышел на балкон ратуши. В полдень. С лютней.

У бургомистра Пима не было лютни. Никогда. Он не умел играть. Он одолжил лютню у бродячего музыканта, который ночевал в «Гусе».

И запел.

Я была на площади. Шла с вдовой Мартенс к Бруне за хлебом. Я услышала.

Он пел плохо. Ужасно. Лютня была расстроена, а голос у бургомистра Пима — как у простуженного гуся. Он пел про «розу моего сердца». Про «звезду моих ночей». Про «Марту, свет очей».

Площадь замерла.

А потом — смех. Сначала — тихий. Потом — громче. Потом весь Тихий Брод хохотал так, что дрожали стёкла в ратуше.

Бургомистр Пим не обращал внимания. Он пел. Куплет за куплетом. Глядя на окно своего дома — напротив ратуши, через площадь. Где за занавеской стояла Марта Пим.

Я прислушалась.

Не к песне. К сердцу.

Его сердце — я слышала даже с другого конца площади, такое оно было громкое — стучало странно. Не быстро. Не медленно. Неровно. Как будто кто-то дёргал его за ниточку. Тук-тук. Пауза. Тук. Тук-тук-тук. Пауза.

Как у куклы на верёвочках в балагане. Которая дёргается, когда кукольник тянет.

— Вдова Мартенс, — сказала я тихо. — Вы видите его лицо?

— Вижу, деточка, — сказала вдова Мартенс. Голос у неё дрожал. — Ох, вижу. Счастливое. Такое счастливое. Как у дурачка на ярмарке.

— А глаза?

Вдова Мартенс помолчала.

— Пустые, — сказала она. — Глаза — пустые, Лотта. Он поёт, улыбается — а глаза пустые.

А из окна напротив — я услышала — Марта Пим заплакала.
Не от счастья.

* * *

Третьим влюбился Хромой Олаф.
В жрицу Олеа.

Хромому Олафу — семьдесят шесть. Жрице Олеа — восемьдесят два. Он ходит на костыле. Она глуха на оба уха. Они знают друг друга шестьдесят лет. И шестьдесят лет ругаются — Олаф говорит, что Олеа путает имена на свадьбах, Олеа говорит, что Олаф поёт в храме так, что Мать-Земля затыкает уши.

На четвёртый день Хромой Олаф пришёл в храм Матери-Земли. С букетом полевых ромашек. Встал на одно колено — на здоровое. Чуть не упал. Его поддержал Гуннар, который случайно проходил мимо.

И сделал жрице Олеа предложение.

Громко. На весь храм.

— Олеа! — орал Хромой Олаф. — Выходи за меня!

— Что? — спросила жрица Олеа.

— **ВЫХОДИ ЗА МЕНЯ!**

— Не ори, не глухая, — сказала жрица Олеа. — Ты кто?

— **ОЛАФ!**

— Альфред, — сказала жрица Олеа. — Хорошее имя. — Пауза. — А зачем ты на коленях?

— **ЛЮБЛЮ!**

Жрица Олеа долго молчала.

Потом сказала:

— Олаф. Ты пьяный.

— **НЕТ!**

— Тогда — дурак, — сказала жрица Олеа. — Шестьдесят лет дурак. Встань. Колено простудишь.

Это мне рассказал Гуннар. Он рассказывал и не смеялся. Совсем. Гуннар вообще редко смеётся, но тут он рассказывал так, будто рассказывал про покойника.

— Он плакал, — сказал Гуннар. — Олаф. Когда она его прогнала. Стоял на ступеньках храма и плакал. Как дитё. — Гуннар помолчал. — Я Олафа сорок лет знаю. Он не плакал, когда ему ногу отрезали. После медведя. А тут — плакал.

— А Олеа ничего не покупала? — спросила я. — У мадам Мирр?

— Не покупала, — сказал Гуннар. — Ей подарили. Мадам сама принесла. В первый день. В храм. Сказала — «в дар Матери-Земле». Флакончик. Олеа и подушилась. Она ж не знает. Она старая. Ей подарили — она и подушилась.

— А Олаф?

— А Олаф в тот день в храм ходил. Свечку ставить. Как всегда по средам.

И учуял, подумала я. Учуял — и пропал.

* * *

К концу недели в Тихом Броде было одиннадцать «влюблённых».

Я считала. Ала тоже считал — он записывал в книгу. Мы сверялись по вечерам. Иногда у нас не сходилось — я знала про кого-то, кого он не знал, потому что слышала сердце на рынке. Иногда он знал про кого-то, кого не знала я, потому что видел глаза.

Мельник — в мельничиху.

Бургомистр Пим — в свою жену.

Хромой Олаф — в жрицу Олеа.

Кузнец Торвальд — в жену Торвальда (Ала сказал: «Это хотя бы законно»).

Сын мясника, шестнадцати лет, — во вдову Шнайдер, сорока пяти лет, которая купила духи «чтоб покупатели в лавку шли». Сын мясника теперь сидел у её лавки целыми днями и пел.

Ещё шестеро. Все — одинаково. Все — внезапно. Все — со счастливыми лицами и пустыми глазами.

И у всех — я слышала, когда проходила мимо, — сердце, которое дёргают за ниточку.

А у тех, в кого они влюбились, — одно и то же запах.

Фиалки. Сладкие, громкие, жирные.

А под ними — то самое. Сахар на больном зубе. Мёд с мухой.

— Ала, — сказала я в пятницу вечером. — Это духи.

— Я знаю, — сказал Ала.

Я подняла голову.

— Знаешь?

— Я их проверил, — сказал Ала. Он сидел у камина, с книгой на коленях. Голос у него был усталый. — В понедельник. Как обещал. Официально. Как инспектор Палаты. Пришёл в караван. Предъявил предписание. Мадам Мирр была очень любезна. Показала всё. Лицензию — Палаты, на парфюмерную торговлю. Подписана в Альвизе, на юге, три года назад. Всё правильно. Рецептuru — фиалковое масло, розовое масло, винный спирт, амбра, мускус. Всё по реестру. Всё разрешено. — Он помолчал. — Я понюхал.

— И?

— Фиалки, — сказал Ала. — Только фиалки. Сладко. Громко. — Пауза. — Больше ничего.

— А под ними?

— Под ними — ничего, Лотта. — Он вздохнул. — Я чувствую запахи два года. Два. Ты — девять. Мотя — сорок. Я не... Я не умею, как вы. Слышать то, что под. Я слышу то, что сверху. Фиалки.

— Но ведь ты видишь, что с людьми!

— Вижу, — сказал Ала. — Одиннадцать человек. Внезапная влюблённость. Нарушение привычного поведения. Пустые глаза. — Пауза. — Знаешь, что мне скажет Палата?

— Что?

— «Влюблённость не является нарушением Уложения о снадобьях», — сказал Ала. Ровно. Как будто зачитывал. — «Связь между приобретением духов и изменением поведения не установлена. Совпадение во времени не является доказательством». — Он помолчал. — Параграф шестой Положения о доказательствах. Я сам его сто раз применял.

— Тогда пусть Палата приедет и посмотрит на бургомистра Пима!

— Я отправил образцы, — сказал Ала. — Три флакона. С курьером. В понедельник. В столицу. В лабораторию Палаты. Ответ — через две недели. Может, три.

— А за две недели?

Ала не ответил.

С дивана — Ильзин голос. Резкий. Злой. Совсем не сонный.

— За две недели, — сказала Ильза, — в Тихом Броде будет сорок влюблённых. А потом — сто. А потом — весь город. — Шорох. Она, кажется, пыталась сесть. — Аларик. Дай мне флакон. Один. Я сама разберу. За день.

— Нет.

— Аларик!

— Ильза, тебе нельзя к котлу.

— Мне не нужен котёл! Мне нужен нос! И ступка! И три склянки!

— Тебе через два месяца рожать.

— Через семь недель!

— Тем более.

— Аларик Ройс, — сказала Ильза. Таким голосом, что даже вдова Мартенс перестала вязать. — Если ты сейчас же...

— Ильза, — сказал Ала. Тихо. И я услышала, как у него сердце сбилось. Не от вранья — от страха. — Я не знаю, что в этих духах. Никто не знает. Если это что-то, что действует через запах... — Он замолчал. — Если ты понюхаешь — и... и влюбишься...

— В кого?

— Не знаю, — сказал Ала. — В кого-нибудь. В того, кого первым увидишь.

Тишина.

— Ты ревнуешь, — сказала Ильза. Удивлённо. — Аларик. Ты ревнуешь меня к флакону духов.

— Я боюсь, — сказал Ала.

Сердце у него — ровно. Медленно. Правда.

Ильза помолчала.

— Иди сюда, — сказала она. Совсем другим голосом.

Шаги. Скрип дивана. Шорох.

Я встала. Взяла трость. Пошла к себе наверх. Четырнадцать ступенек. Седьмая скрипит.

Они не заметили.

* * *

Мотя заговорила в субботу.

Я пришла в школу. Рано, до завтрака. Мотя не спала — я знала, она теперь почти не спала. Сидела на столе в кухне, а рядом — Кеша, тоже не спал, перебирал лапками на жёрдочке.

— Слепая, — сказала Мотя, когда я вошла. — Иди сюда.

Я подошла. Села.

— Принеси мне, — сказала Мотя. — Что-нибудь. От них. Не флакон — флакон я не выдержу. Что-нибудь, что пахнет. Платок. Ленту. Что угодно.

— Зачем?

— Затем, — сказала Мотя, — что я должна знать наверняка. Прежде чем скажу. Потому что если я скажу — а это не то... — Она замолчала. — Я не хочу, чтобы это было то.

У Моти не было сердца. Ну, было, наверное. Где-то там, в корнях. Но я его никогда не слышала. Я слышала только её голос. А голос у неё сейчас был такой, какого я не слышала никогда.

Как у Алы, когда он говорил про капли мэтра Бальзама.

— Хорошо, — сказала я. — Принесу.

Я вышла из школы. Постояла на крыльце. Подумала.

Потом спустилась в сад. Обошла школу. К окну кухни.

В крапиве под окном — я нашла его на ощупь, обжигая пальцы, — лежал букетик фиалок. Пять дней. Увядший, мокрый от росы, мягкий.

Он всё ещё пах.

Я принесла его Моте. Положила на стол. Далеко. На самый край.

Мотя долго молчала.

Потом сказала:

— Ближе.

Я подвинула.

— Ещё.

Подвинула.

Мотя вдохнула. Я слышала — листья у неё зашуршали, все разом, как будто она втягивала воздух всем телом.

И замерла.

Тишина. Только Кеша на жёрдочке — туда-сюда, туда-сюда.

— Ох, — сказала Мотя.

Тихо. Очень тихо.

— Ох, сёстры мои. Ох, родные.

— Мотя, что?

— Мандрагора, — сказала Мотя.

Я не поняла.

— Что?

— Корень мандрагоры, — сказала Мотя. Голос у неё дрожал. — Толчёный. Сушёный. В порошок. В этих фиалках. В этих духах. Мандрагора. — Она помолчала. — Мои сёстры, слепая. Их вырыли. Их толкут. В ступке. Живых. А потом — в фиалки. Чтоб не чуяли.

Я сидела за столом. Не дыша.

— Ядвига мне рассказывала, — продолжала Мотя. Тихо, быстро, как будто боялась не успеть. — Давно. Когда я ещё росток была. Про южных знахарок. Которые мандрагору на приворот пускают. Корень — в порошок. Порошок — в масло. Масло — на кожу. Кто учует — тот твой. Навсегда. Пока не выветрится. А выветривается — долго. Месяц. Год. Если подновлять — никогда. — Пауза. — Ядвига говорила — это хуже яда. Яд убивает тело. А это — человека. Того, кто внутри. Человек вроде есть — ходит, ест, песни поёт. А внутри — пусто. Только ниточка. И за ниточку — дёргают.

Ниточка.

Сердце бургомистра Пима. Тук-тук. Пауза. Тук. Тук-тук-тук.

Как у куклы в балагане.

— Мотя, — прошептала я. — Это можно вылечить?

Мотя долго не отвечала.

— Ядвига говорила — можно, — сказала она наконец. — Горечью. Полынью. Горечь отрезвляет. Как пощёчина. — Пауза. — Но как — не говорила. Не успела. Или я не запомнила. Я тогда маленькая была. Глупая.

Я сидела и думала.

Полынь.

Ала чихает от полыни. Каждое утро. Три раза.

Сегодня — один.

Потому что фиалки перебивают.

— Мотя, — сказала я. — Кому мне сказать?

— Графу Холту, — сказала Мотя. — Не брату. Брату — потом. Брат будет говорить «параграф». А граф — сразу поймёт. Граф знает, что такое, когда человека изнутри выедают. У него брат так умер. От маковой дряни.

Я встала.

— И ещё, слепая, — сказала Мотя.

— Да?

— Тот, с кудрями. Который фиалки дарит. — Пауза. — Он ведь тебя гулять звал?

— Звал.

— Не ходи.

— Мотя...

— Не ходи, — повторила Мотя. — От него ничем не пахнет. Ты сама сказала. Под фиалками — пустота. — Она помолчала. — Знаешь, у кого так бывает? У того, кто сам себя надущил так, что сам себя не чувствует. Чтобы не учуять, когда сам врёт.

Глава 4. В которой я иду на пикник (хотя мне говорили не ходить)

Я пошла.

Я знаю. Мотя сказала: «Не ходи». Граф Холт, когда я пришла к нему в субботу и всё рассказала, сказал: «Ни шагу к этому каравану, Лотта. Ни шагу. Я сам». Ала сказал... Ала не знал. Я ему не сказала. Я сказала только графу. Как велела Мотя.

А граф сказал «ни шагу». И у него сердце было ровное. Он не врал. Он правда так считал. Я пошла всё равно.

Потому что граф Холт три дня ходил вокруг каравана. Спрашивал. Смотрел. Слушал. Он слышит ложь — у него дар. И он пришёл к мадам Мирр и спросил прямо: «Что в ваших духах?» А она ответила: «Фиалковое масло, розовое масло, винный спирт, амбра, мускус». И у него не зазвенело.

Потому что это была правда. Всё это там было.

Она просто не сказала, что там было ещё.

Граф Холт слышит ложь. Но он не слышит то, что не сказано. Он сам мне это объяснил, в субботу, у себя в кабинете. Тихо. Устало. «Я не могу её поймать, Лотта. Она не врёт. Она молчит. А молчание — не звенит».

Ну а я — слышу.

Не ложь. Сердце. Дыхание. То, как человек замирает, прежде чем сказать что-то не то. То, что под фиалками.

И если кто-то в этом караване может проговориться — это Жюльен. Потому что Жюльен хочет мне понравиться. А когда человек хочет понравиться — он говорит много. Слишком много.

Так что в воскресенье, когда у калитки нашего дома появился Жюльен — с корзинкой, с гитарой, пахнувший фиалками на всю улицу, — и пригласил меня на прогулку к реке, я сказала: «Да».

Вдова Мартенс уронила спицы.

— Лотта, — прошептала она. — А брат?

— Брат в Глинске, — сказала я. — До вечера. По делам Палаты.

Это была правда. Ала уехал утром.

— А Ильза?

— Ильза спит.

Это тоже была правда. Ильза теперь спала после обеда по три часа. Мэтр Гроссе велел.

— Ох, деточка, — сказала вдова Мартенс. — Ох, не нравится мне это.

— Мне тоже, — сказала я. — Поэтому вы пойдёте со мной.

Вдова Мартенс помолчала.

— А, — сказала она. — Ну, это другое дело.

И пошла за шляпой.

* * *

Перед выходом я сделала одну вещь.

Поднялась к себе. Открыла сундук. Нашла на ощупь мешочек — холщовый, маленький, с завязками. В нём — полынь. Сухая. Веточки. Я всегда ношу немного в кармане. С прошлого лета. Для Алы. Чтобы, когда он спорит со мной по параграфам, сунуть ему под нос — и он чихает и забывает, о чём спорил.

Это работает. Каждый раз.

Я положила мешочек в карман платья. Справа.

Мотя сказала: «Горечь отрезвляет».

Если что — понюхаю.

* * *

Жюльен расстелил покрывало на берегу Ивы. Ниже мельницы. На лугу, где весной цветут лютики. Я знала это место — здесь Ала с Ильзой собирали росу. Два года назад. Ильза рассказывала. Это было их место.

Мне не понравилось, что Жюльен выбрал именно его.

Он не мог знать. Наверное.

Вдова Мартенс села поодаль. Под ивой. Шагах в двадцати. С вязанием. Цок-цок-цок. Я слышала её — и это было хорошо.

Жюльен сел рядом со мной. Не близко. На расстоянии вытянутой руки. Вежливо.

— Хотите, я расскажу вам, что вижу? — спросил он.

— Хочу.

Он рассказывал.

Красиво. Очень красиво. У него был хороший голос — низкий, бархатный, певучий. Он говорил, что река — как серебряная лента, брошенная на зелёный бархат. Что солнце играет на воде, как дети на лугу. Что над рекой летают стрекозы — синие, прозрачные, как сделанные из стекла. Что на том берегу пасутся белые козы. Что по реке плывут два лебедя.

Я слушала. Тук. Тук. Тук. Тук. Ровно.

— Лебеди? — переспросила я.

— Два, — сказал Жюльен. — Белые. Прекрасные. Плывут рядом. Шея к шее.

Я прислушалась к реке.

Плеск. Журчание у камней. Вдалеке — шум мельничного колеса. Стрекозы — да, я слышала: тонкое жужжание, сухое шуршание крыльев. Козы на том берегу — тоже да: колокольчик, блеяние.

И криканье.

Утки. Две. Не лебеди. Лебеди не крикают. Лебеди шипят и трубят. А в Иве лебедей вообще нет — Петер мне говорил. Прошлым летом. Когда принёс сонник и я спросила, какие птицы живут на реке. Он сказал: «Утки. Кулики. Цапля. Одна. Старая. Лебедей нет. Холодно им тут». Это была его вторая самая длинная фраза за год.

— Это утки, — сказала я.

Пауза.

— Простите?

— Это утки, — повторила я. — Крикают. Лебедей на Иве нет. Им здесь холодно.

Тук. Тук. Тук. Тук.

Ровно.

А потом — смех. Лёгкий, звонкий.

— Мадемуазель Ройс! — сказал Жюльен. — Вы опять меня поймали! Утки, конечно, утки! Я поэт, мадемуазель. Я вижу мир не таким, какой он есть, а таким, каким он должен быть. Утки — скучно. Лебеди — красиво. — Пауза. — Вы ведь хотели красиво?

— Я хотела правду, — сказала я.

— Правда — это скучно, — сказал Жюльен.

— Не всегда.

— Почти всегда. — Он помолчал. — Хотите вина? У меня здесь южное. Сладкое. Из наших виноградников.

Шорох. Звон бутылки. Плеск.

— Нет, спасибо, — сказала я.

— Сидра?

— Нет.

— Воды? Простой воды? Из реки?

— Нет, — сказала я. — Спасибо. Я не хочу пить.

Пауза. Совсем маленькая.

Я услышала, как он поставил бутылку. Медленно.

— Вы мне не доверяете, — сказал он. Тихо. Почти грустно.

— Я вас не знаю.

— Тогда давайте знакомиться, — сказал Жюльен. — Спрашивайте. Что угодно.
Я подумала.

— Откуда вы?

— С юга. Альвиз. Город у моря. Там всегда тепло, всегда цветут фиалки, всегда поют.
Тук. Тук. Тук. Тук.

— Давно вы с тётушкой?

— С детства. Она меня вырастила. Мои родители умерли, когда мне было шесть. Лихорадка.

Тук. Тук. Тук. Тук.

Ровно. Даже когда он сказал «умерли». У всех, когда говорят про умерших родителей, хоть чуть-чуть сбивается. У Алы — каждый раз, когда он говорит про маму. Хотя прошло десять лет.

— Мне жаль, — сказала я.

— Это было давно.

— Чем занималась ваша тётушка до каравана?

Пауза.

Совсем крошечная. Меньше вдоха. Я бы не заметила, если бы не слушала изо всех сил.

— Служила, — сказал Жюльен. — В хорошем доме. Экономкой. — Пауза. — В столице.

— В каком доме?

— О, вы его не знаете. — Смех. — Старый граф. Скучный. Умер прошлой зимой. Тётушка ушла со службы — и решила заняться тем, что любила с юности. Ароматами.

Тук. Тук. Тук. Тук.

Ровно.

Но перед «старый граф» — я услышала — он чуть-чуть задержал дыхание. На полвдоха. Как будто набирал воздуха, чтобы нырнуть.

* * *

Он рассказывал ещё. Про юг, про море, про корабли. Про то, как тётушка учила его разбираться в цветах. Про то, как они ехали на север — через Вельск, через Глинск, — и как везде их любили.

— В Глинске вас тоже любили? — спросила я.

— Очень, — сказал Жюльен. — Мы продали там больше, чем во всех остальных городах.

— А на вас жаловались?

Пауза.

— Кто вам сказал?

— Брат, — сказала я. — Ему писали из Палаты.

Тук. Тук. Тук. Тук.

— Ах, это, — сказал Жюльен легко. — Одна вдова. Купила духи, а через неделю её сосед, старый вдовец, сделал ей предложение. Её дети испугались, что он хочет её имущество. Написали жалобу. — Смех. — Представляете? Жалоба на любовь!

— А он хотел её имущество?

— Не знаю, мадемуазель. — Пауза. — Но мне кажется, если человек влюблён — какая разница, почему?

Я молчала.

— Разве не так? — спросил Жюльен. Мягко. Ближе — он, кажется, придвинулся. — Разве любовь — это не главное? Разве важно, откуда она взялась? Из взгляда, из улыбки, из стихов... — Пауза. — Из флакона?

Фиалки. Совсем рядом. Сильно. У меня зашипало в носу.

Я сунула руку в карман. Нащупала мешочек с полынью. Сжала.

— Важно, — сказала я.

— Почему?

— Потому что если из флакона, — сказала я, — то это не любовь. Это ниточка.

Тишина.

Долгая. Очень долгая. Даже вдова Мартенс под ивой перестала вязать — я больше не слышала цоканья спиц.

А потом Жюльен засмеялся. Снова. Легко. Звонко.

— Ниточка! — сказал он. — Как красиво! Мадемуазель Ройс, вы — поэт! Больше, чем я! — Пауза. — Позвольте мне кое-что сказать. Только не смейтесь.

— Говорите.

— Я влюблён в вас, — сказал Жюльен. — С первой минуты. С площади. Когда вы стояли с этой вашей белой тростью — и не смотрели на мою тётушку. Единственная. Я тогда подумал: вот девушка, которая видит больше всех. Хотя не видит ничего.

Тук. Тук. Тук. Тук.

Ровно. Как маятник. Как метроном. Как будто он сказал: «Сегодня хорошая погода».

Я сидела на покрывале и слушала это сердце.

И мне стало страшно.

Не потому, что он соврал. Люди врут. Все. Даже Ала — иногда, по мелочи. А потому, что он соврал так. Совершенно спокойно. Без единого сбоя. Как будто внутри у него не было ничего, что могло бы сбиться.

Как будто там, под фиалками, правда — пустота.

— Мадемуазель? — сказал Жюльен.

Я открыла рот.

И в этот момент со стороны мельницы раздались шаги.

* * *

Тяжёлые. Быстрые. По траве — шух-шух-шух. Ближе. Ближе.

Сердце. Бух. Бух. Бух. Бух. Как колесо в паводок.

Мука. Река. Полюнь.

Шаги остановились. В трёх шагах от покрывала.

— Л-Лотта, — сказал Петер.

Запыхавшийся. Как будто бежал. От мельницы. Через весь луг.

— Петер? — сказала я.

— Тебя... — Он перевёл дыхание. — Тебя Аларик ищет. Вернулся. Из Глинска. Говорит — срочно.

Бух-бух-БУХ.

Сердце у него подпрыгнуло. Так сильно, что я чуть не услышала, как оно стукнулось о рёбра.

Он соврал.

Петер. Который за год сказал мне от силы десять фраз. Который краснеет, когда я говорю ему про муку на щеке. Который приносит сонник и уходит. Соврал. Мне. Нагло. Не умея.

Ала в Глинске до вечера. Я знала. И Петер, наверное, знал — весь город знал, Ала уезжал на рассвете, через площадь, мимо мельницы.

— Брат вернулся? — сказала я. — Так рано?

— Да, — сказал Петер.

Бух-БУХ.

— Ну что ж, — сказал Жюльен. Легко. Весело. Но — я услышала — чуть-чуть быстрее, чем обычно. Самую малость. — Раз брат зовёт... — Шорох. Он вставал. — Мадемуазель Ройс. Было счастьем. Надеюсь, мы повторим.

— Может быть, — сказала я.

— Я буду надеяться. — Пауза. — А вы, — это Петеру, — мельник, если не ошибаюсь?

— Сын мельника, — сказал Петер.

— Передайте вашему отцу моё почтение, — сказал Жюльен. — И вашей матушке. Она ведь купила у нас флакон? Я помню её. Чудесная женщина.

Тишина.

Петер не ответил.

Но я услышала, как у него сжались кулаки. Звук был — как будто треснула сухая ветка.

* * *

Мы шли по лугу к дороге. Петер — впереди, на шаг. Я — за ним, держась за его рукав. Вдова Мартенс — позади, с вязанием в корзинке, пыхтя.

Петер молчал.

Я тоже молчала. До самой дороги.

На дороге я остановилась. Отпустила его рукав.

— Петер, — сказала я.

Он остановился.

— Ты соврал, — сказала я.

Тишина.

— Да, — сказал Петер.

— Ала в Глинске.

— Да.

— Зачем?

Он молчал. Долго. Я слышала, как он дышит — тяжело, через нос. Как переступает с ноги на ногу. Как хрустит гравий под его сапогами.

— Петер. Зачем ты соврал?

— Он... — сказал Петер. И замолчал.

— Что — он?

Пауза. Очень длинная.

— Он смотрел не на реку, — сказал Петер наконец. Медленно. Как будто вытаскивал каждое слово из колодца. — Когда говорил. Про лебедей. Про стрекоз. Про коз. Он не смотрел на реку.

— А куда?

— На тебя, — сказал Петер.

Я почувствовала, как у меня горят щёки. Глупо. Очень глупо.

— Ну и что? Он же... — Я запнулась. — Он же говорил, что влюблён.

— Не на тебя, — сказал Петер. — Не на лицо. — Пауза. — На твою шею.

Я замерла.

— Что?

— На шею, — повторил Петер. Тихо. — Там у тебя... это. Медальон. Серебряный. Он на него смотрел. Всё время. Пока говорил. Я видел. С мельницы. У меня там окно на луг. — Он помолчал. — Час смотрел. Не на тебя. На медальон.

Я подняла руку. К горлу.

Медальон. Маленький, серебряный, овальный. На тонкой цепочке. Мамин. Я ношу его с девяти лет. С того дня, как мамы не стало. Ала надел его на меня на похоронах. Сказал: «Это её. Она бы хотела, чтобы ты носила».

Внутри — ничего. Пусто. Мама говорила, что когда-то там был портрет. Но она его вынула. Давно. Ещё до моего рождения.

А снаружи — гравировка. Я трогала её тысячу раз. Знаю наизусть. Маленькие буквы. Две. Переплетённые. Завиток, завиток.

«Э» и «А».

Мама говорила — «Это значит “Анна”. И ещё одно слово, на старом языке. Неважно».

— Зачем ему мой медальон? — прошептала я.

Петер молчал.

— Петер?

— Не знаю, — сказал он.

Сердце у него — бух, бух, бух. Ровно. Тяжело. Не врёт.

— Но я тебе вот что скажу, — сказал Петер. Вдруг. Быстро. Как будто боялся, что если остановится — не скажет никогда. — Когда я на складе у Крейна был. Три года назад. Перед колодцем. Там один человек приходил. К Крейну. Ночью. Белобрысый. Корвин. — Пауза. — Он так же смотрел. На Агату. Когда она на ярмарке Петера... меня спасала. Не на неё. На её руки. — Он слотнул. — Как на вещь. Которую хочешь купить.

Я стояла на дороге. С рукой на медальоне.

Вдова Мартенс подошла сзади. Положила мне руку на плечо.

— Деточка, — сказала она. — Пойдём домой.

Я кивнула.

Петер стоял на дороге. Не двигался.

— Петер, — сказала я.

— Да?

— Спасибо. Что соврал.

Пауза.

Бух. Бух. Бух. Бух.

— Я не умею, — сказал он. Глухо. — Врать. Плохо получилось.

— Очень плохо, — согласилась я. — Я сразу слышала.

— Тогда почему ты пошла?

Я подумала.

— Потому что ты соврал, — сказала я. — А раньше — никогда. Значит, было зачем.

Он ничего не ответил.

Только — я слышала — сердце у него сбилось. Не так, как когда врал. По-другому. Как будто кто-то сказал ему что-то, чего он совсем не ждал.

А потом — шаги. Прочь. По дороге. К мельнице.

Он опять ушёл.

Но на этот раз — я слышала — медленно.

И два раза оглянулся.

Глава 5. Петер. Колодец

Я не люблю колодцы.

На площади Тихого Брода есть колодец. Каменный, старый, с деревянным воротом и крышей из дранки. Из него весь город воду берёт. Бруна — для теста. Йорген — для пива. Агата — для трав.

Я из него воду не беру. Никогда. Три года. Хожу на реку. С двумя вёдрами. Мимо площади, через мост, к мосткам у мельницы. Далеко. Тяжело. Но — хожу.

Потому что три года назад я стоял на краю этого колодца. Одной ногой на брёвнах. Другой — над темнотой.

И улыбался.

* * *

Мне было шестнадцать. Я работал у отца на мельнице, а по вечерам — грузчиком у Ансельма Крейна. На складе. Носил ящики с пряностями. Крейн платил хорошо. Мать говорила — не ходи, нехороший он, глаза у него бегают. Я ходил. Деньги были нужны — я хотел купить себе нож. Хороший, с костяной ручкой, у Торвальда.

На складе был подвал. Туда носили мешки. Серые. Пахли мёдом и холодом. Внизу стояли котлы. Люди в повязках что-то варили. Мне не велели спрашивать — я не спрашивал.

Внизу была пыль. Серая. Сладкая. Она висела в воздухе, как мука на мельнице. Я спускался — и вдыхал.

И мне становилось хорошо.

Это трудно объяснить. Тому, кто не пробовал. Как будто тебя положили в тёплую воду. Как будто мама гладит по голове. Как будто всё на свете правильно и ни о чём не надо волноваться. Ни о мельнице. Ни о деньгах. Ни о том, что я большой, неуклюжий, не умею говорить и девушки на ярмарке смеются, когда я пытаюсь пригласить их на танец.

Мне стало хорошо — и я начал спускаться туда сам. Просто так. Постоять. Подышать.

А на ярмарке, на Липовой, когда весь город был на площади, — я надышался слишком много.

Я не помню, что было потом. Совсем. Помню только — кто-то из ребят с выселок сказал: «Прыгни в колодец, раз такой храбрый». В шутку. А я подумал: «Мне велели прыгнуть. Значит, надо прыгнуть. Так правильно».

И пошёл.

Это — самое страшное. Не то, что я чуть не умер. А то, что я пошёл. Сам. С улыбкой. Потому что мне велели. Потому что внутри меня не осталось ничего, что могло бы сказать «нет».

Меня поймал граф Холт. Он тогда ещё был капитаном Холтом — все так думали. Он прыгнул через полплощади и схватил меня за ворот, когда я уже падал. Потом Агата положила мне руки на грудь — и руки у неё светились зелёным — и я проснулся.

Первое, что я увидел, — мамино лицо. Мокрое. Белое.

Первое, что я понял, — что я не помню, как шёл к колодцу.

С тех пор я боюсь.

Не колодцев. Себя. Того, что внутри меня может однажды опять не остаться ничего. Что кто-то дёрнет за ниточку — и я пойду. С улыбкой. Куда велят.

* * *

Поэтому я и пошёл к Агате. Через год. Когда всё кончилось и Корвина увезли на рудники.

Я сказал: «Научите меня варить противоядие». Она посмотрела на меня. Долго. Своими зелёными глазами. И сказала: «Зачем тебе, Петер?»

Я не смог объяснить. Я никогда не могу объяснить. Слова застревают где-то внутри, как зерно в жерновах.

Я сказал: «Надо».

Она сказала: «Хорошо».

Два года я варю противоядие. От Серой дрёмы. Каждый день. Агата говорит — у меня рука хорошая. Не «зелёная» — у меня нет дара. Просто — твёрдая. Не дрожит. Я отмеряю полынь до крупинки. Росу — до капли. Я не тороплюсь. Я не ошибаюсь.

Двести сорок три человека по королевству. Я знаю их всех по именам. По списку. Барон Эстергази. Вдова генерала Мортимера. Сорок человек из королевского совета. Каждому раз в месяц уходит склянка. Моя. Я её варил.

Каждая склянка — это человек, который не пойдёт к колодцу. С улыбкой. Потому что велели.

Это — единственное, что я умею по-настоящему.

* * *

А потом приехала она.

Лотта.

Позапрошлым летом. С братом-инспектором и с вдовой в шляпе с перьями. Я её увидел на площади — она стояла у колодца, у того самого, и подняла лицо к солнцу. И вдохнула. И сказала вдове: «Здесь пахнет липами! И хлебом! И речкой!»

У того колодца.

Я тогда подумал: она не знает, что это за колодец. Она не видит. Для неё это просто — колодец. Камень, вода, ворот.

И мне вдруг стало легче. Как будто кто-то снял с колодца... не знаю. Что-то.

Потом я узнал, что она слепая с девяти лет. От капель. От знахаря. От того, кто тоже дал людям что-то, от чего им станет хорошо.

Она не боится. Ничего. Ходит по городу одна, с тростью. Нюхает. Слушает. Смеётся. Говорит людям, что у них мука на щеке. Говорит Моте, что Мотя ворчит. Говорит брату-инспектору, что он чихнул не так, как вчера.

Она видит всё. Больше, чем все, кто с глазами.

А я — я большой, неуклюжий, рыжий, с мукой на щеке. Я не умею говорить. Когда я рядом с ней, слова застревают так, что я начинаю заикаться. Я не заикался с детства. А с ней — заикаюсь.

Она слышит, как у меня сердце колотится. Она мне сама сказала. На уроке. При всех. «Как мельничное колесо в паводок».

Я тогда чуть не умер. Прямо там. В дверях.

* * *

Прошлой весной я придумал.

Я не могу сказать. Ладно. Но я могу принести.

Сонник. Один цветок. Каждую среду. Из оранжереи. Самый свежий. Агата разрешила — я попросил, она посмотрела на меня так же, как тогда, два года назад, долго, своими зелёными глазами, и сказала: «Хорошо, Петер. Бери с первого куста. Там бутоны раньше всех».

Я приношу. Кладу ей в руку. Говорю: «Вот».

Больше ничего не могу.

Однажды — летом — она спросила: «Петер, а как пахнет сонник? Для тебя?» Я стоял, держал цветок, и не знал, что ответить. Для меня он пахнет — холодом. И чем-то ещё. Чему нет слов. А она сказала: «Для меня — утром после грозы». Я подумал — правильно. Именно так. Утром после грозы. Как будто всё страшное кончилось, и ты открываешь окно.

Я сказал: «Да». И ушёл.

Потом всю ночь не спал. Думал: надо было сказать что-нибудь. Что-нибудь ещё. Кроме «да».

Сорок семь сред. Сорок семь цветков. Сорок семь раз я стоял перед ней и не мог сказать ничего, кроме «вот».

Я не знаю, что она с ними делает. Наверное, ставит в воду. Наверное, они вянут. Наверное, она их выбрасывает.

Я бы выбросил. На её месте.

* * *

А потом приехал караван.

Розовые повозки. Фиалки. Тётка с перьями. И он.

Жюльен.

Я его увидел в первый же день. На площади. Он подошёл к Лотте. Поклонился. Шляпой с пером. Подарил ей фиалки. Говорил что-то — я не слышал, я стоял у колодца, далеко. Но я видел, как он говорит. Легко. Быстро. Улыбаясь. Как будто слова у него сами вылетают из рта. Как птицы.

Как у меня — никогда.

Я стоял у колодца. У того самого. И смотрел, как он дарит ей цветы. Красивые. Южные. Крупные. Не то что мой — один, серебряный, маленький.

И я ушёл.

Потому что не мог смотреть.

И потому что... Нет. Не только поэтому.

Потому что от него пахло так же, как тогда. В подвале у Крейна.

Не фиалками. Под фиалками. Сладко. Тепло. Тяжело. Как будто тебя кладут в тёплую воду.

Я эту сладость до смерти помню. Я её во сне чую. Три года.

Это был не тот же запах. Не дрёма. Другой. Но — похожий. Как двоюродный брат.

Я ушёл с площади. Сел на берегу у мельницы. И сидел до темноты. И думал: может, мне кажется. Может, я сошёл с ума. Может, у меня после колодца в голове что-то сломалось — и мне теперь везде чудится эта сладость.

А на следующее утро мой отец не запустил мельницу.

* * *

Двадцать пять лет он запускал её в пять.

Двадцать пять лет он вставал затемно, шёл к колесу, проверял жернова, открывал заслонку. Двадцать пять лет мельница начинала шуметь в пять — и весь наш край Тихого Брода просыпался под этот шум.

В то утро она молчала.

Я проснулся от тишины. Спустился вниз. Отец стоял на кухне. У маминой кровати — она спала за перегородкой. С подносом в руках. На подносе — завтрак. Каша, хлеб, молоко. И цветы. Полевые. Ромашки, колокольчики. Он их где-то нарвал — затемно, по росе, у него сапоги были мокрые.

Отец стоял и смотрел на маму. Она спала.

— Отец, — сказал я. — Мельница.

Он не обернулся.

— Тише, — сказал он. — Разбудишь. Смотри. Смотри, какая она. Как утренняя заря над рекой.

Мой отец. Ганс-мельник. Который за двадцать пять лет не подарил маме ни одного цветка. Который говорил, что «любовь — это когда муку не пересыпаешь». Который однажды, когда мама плакала, потому что умерла её мать, — постоял рядом, похлопал её по плечу и пошёл к колесу.

Стоит. С подносом. И говорит про зарю.

Я посмотрел ему в лицо.

И увидел глаза.

Пустые.

Как у меня. Тогда. У колодца. Я видел себя в отражении воды — перед тем как шагнуть. Я помню. Пустые глаза. И улыбка.

Отец улыбался.

* * *

Я не знал, что делать.

Пошёл к Агате. Она сказала — подожди, посмотрим. Пошёл к мэтру Гроссе — он послушал отцу сердце, посмотрел язык, посмотрел зрачки. Сказал: «Здоров. Как бык. Только... влюблён». И почесал в затылке. И сказал: «Ничего не понимаю».

Мама плакала. Сначала смеялась, а потом плакала. Отец не ел. Не работал. Ходил за ней по пятам. Дышал ей в волосы. Говорил стихи — он их не знал, он их придумывал, плохие, корявые, про зарю и про реку.

— Я ж хотела, чтоб он цветы принёс, — плакала мама. — Один раз. Один! Я ж не хотела, чтоб он... вот так. Как телёнок. Это ж не он, Петер. Это не он!

— Где духи? — спросил я.

Она отдала мне флакон. Маленький. Розовый. С золотой пробкой. На доньшке — капля. Я открыл. Понюхал.

Фиалки.

И — под ними — то самое. Тёплая вода. Мамина рука на голове. Всё правильно, ни о чём не волнуйся.

Двоюродный брат дрёмы.

Я закрыл флакон. Руки у меня тряслись.

Первый раз за два года — тряслись.

* * *

Я варил противоядие три ночи подряд.

Не от дрёмы. От этого. Я не знал, что в нём. Я не знал, как оно работает. Я взял то, что знал: полынь, росу, немного сонника — Агата дала, — и пробовал. Капал отцу в чай. Тайком. По три капли.

Ничего.

Отец пил чай. Говорил про зарю. Ходил за мамой.

Не работает. Это не дрёма. Противоядие от дрёмы — не работает.

А потом, в воскресенье, я стоял у окна мельницы. На втором этаже. Там, где мешки. Оттуда виден луг. Весь. До самого леса.

И на лугу — покрывало. И на покрывале — двое.

Он. С гитарой. С корзинкой. С бутылкой.

И она. С белой тростью. В сером платье с синей лентой.

Я стоял у окна и смотрел. Час.

Он говорил. Она слушала. Он наливал вино — она не пила. Он наливал ещё что-то — она не пила. Он придвигался — она не отодвигалась, но и не... не придвигалась тоже.

А он смотрел.

Не на неё. Я долго не мог понять — куда. Он поворачивал голову к реке, когда говорил про реку. Но глаза — я видел, у меня хорошие глаза, на мельнице привыкаешь — глаза у него были не на реке.

На её шее.

На медальоне.

Как Корвин на Агатины руки. Тогда. На ярмарке. Я видел. Я лежал на камнях у колодца, мокрый, и видел, как белобрысый человек в синем сюртуке смотрит на Агату. На её светящиеся руки. Как на вещь в лавке.

Я не знаю, как я оказался на лугу.

Помню только — бежал. По траве. Через кочки. Через ручей. И думал: что я скажу? Что я скажу? Я же ничего не умею сказать.

А потом встал перед ними — запыхавшийся, красный, с мукой, наверное, опять на щеке. И сказал первое, что пришло в голову.

«Тебя Аларик ищет».

Это была неправда. Аларик уехал утром в Глинск. Я видел — он проезжал мимо мельницы.

Я соврал. Первый раз в жизни. Ей.

Я не умею врать. Я знал, что она услышит. У меня сердце так стукнуло, что, наверное, в Глинске было слышно.

Она услышала.

И — пошла со мной.

* * *

Потом, на дороге, она спросила: «Зачем?»

И я ей сказал. Про медальон. Про Корвина. Про то, как он смотрел. Целых пять фраз. Подряд. Я никогда в жизни не говорил ей пять фраз подряд.

А она сказала: «Спасибо, что соврал».

И потом сказала: «Ты раньше никогда не врал. Значит, было зачем».

Я стоял на дороге и не мог дышать.

Она мне поверила. Не потому, что я сказал правду. А потому, что я соврал — и она поняла, что я никогда раньше не врал. Ей.

Она знает. Что я никогда не вру.

Она за мной слушала. Весь год. Сорок семь сред. Она слушала, как у меня колотится сердце. И знала, что оно колотится не от вранья.

Я пошёл домой. Медленно. Оглядывался. Два раза.

Она стояла на дороге. С тростью. С рукой на медальоне. Лицом ко мне.

Она меня не видела.

Но мне казалось — видит.

* * *

Ночью я снова не спал.

Сидел у окна мельницы. Смотрел на луг. На тёмную реку. На огоньки розовых повозок на площади — там, за мостом, за храмом. Они горели всю ночь.

Отец внизу спал. Впервые за неделю — уснул. Мама дала ему валерьяновый чай. Тройную порцию. Он спал и бормотал во сне про зарю.

Я думал.

Про медальон. Про то, что Жюльен смотрел на него, а не на неё. Про то, что под фиалками — сладкая тёплая вода. Про отца с пустыми глазами.

Про то, что Жюльен говорит легко. Быстро. Как птицы. А я — как зерно в жерновах.

Про то, что если он даст ей те же духи...

Я сжал кулаки.

Если он даст ей те же духи — она пойдёт за ним. Как отец за мамой. С улыбкой. С пустыми глазами. Туда, куда он велит.

И я ничего не смогу сделать.

Потому что противоядие от дрёмы — не работает. Потому что я не знаю, что это. Потому что я — просто сын мельника. Без дара. Без слов.

Я сидел у окна до рассвета.

А на рассвете пошёл к графу Холту.

Глава 6. В которой меня берут на службу, а брат против

Кабинет графа Холта пахнет кожей, чернилами, оружейным маслом и полынью.

Полынь — потому что под окном. Граф тоже чихает. Уже три года. Агата говорит, что он давно мог бы привыкнуть, но не хочет. «Это его утренний ритуал. Как у Аларика».

Я сидела на стуле у стола. Справа от меня — Агата. Пахнет мятой, молоком и Ядей. Ядя спала у неё на руках, причмокивая. Ей два с половиной. Она уже говорит. Меня она зовёт «Ота». «Ота, понюхай!» — и суёт мне под нос всё подряд. Одуванчики, червяков, отцовский сапог.

Слева от меня — Петер.

Он сидел на самом краешке стула. Я слышала, как стул скрипит каждый раз, когда Петер дышит. Пахло от него мукой, рекой и — сегодня — ещё чем-то. Горьким. Полынью, но не как у Алы под окном — свежей. Сорванной. Растёртой в пальцах.

У него сердце стучало так, что, наверное, и граф слышал. Хотя у графа дар не на сердце, а на ложь.

Граф Холт сидел за столом. Напротив. Я слышала, как он постукивает пальцами по столешнице. Тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Он так делает, когда думает.

— Итак, — сказал граф. — Давайте по порядку.

— По порядку — это к Алику, — сказала я.

Агата фыркнула.

— Аларика нет, — сказал граф. — Он в Глинске. До вечера. Поэтому — по порядку будет по-моему. — Он помолчал. — Лотта. В субботу ты пришла ко мне и сказала: мандрагора в духах. Со слов Моти. Я сказал: ни шагу к каравану.

— Сказали.

— В воскресенье ты пошла на пикник с Жюльеном Мирром.

— Пошла.

Тук-тук-тук.

— Зачем?

— Затем, что вы её не можете поймать, — сказала я. — Мадам. Вы спрашиваете, она отвечает правду. Только не всю. А Жюльен — говорит много. Слишком много. Он хочет мне понравиться. Я думала — проговорится.

— Проговорился?

— Да, — сказала я.

Тук-тук-тук остановилось.

Я рассказала. Про лебедей, которые утки. Про родителей, которые умерли от лихорадки — и сердце не сбилось. Про «тётушка служила экономкой у старого графа, который умер прошлой зимой» — и полвдоха перед словом «граф». Про вдову в Глинске, у которой дети испугались за имущество. Про «разве важно, откуда любовь — из флакона?». Про «я влюблён в вас» — с сердцем, как маятник.

Граф слушал молча.

Потом я сказала про медальон. Как Петер сказал. Что Жюльен смотрел на него. Час. Не на меня.

Граф помолчал.

— Петер, — сказал он. — Это так?

Скрип стула.

— Т-так, — сказал Петер.

— Ты уверен? Ты видел с мельницы. Это далеко.

— У меня г-глаза хорошие, — сказал Петер. — На мельнице привыкаешь. Видеть, где мешок прохудился. Издалека. — Пауза. — Он смотрел на медальон. Я уверен.

У графа — тишина. Ни звона, видимо. Он не поморщился — я бы услышала, он, когда морщится, чуть-чуть втягивает воздух сквозь зубы.

— Можно? — сказал граф. Мне.

— Что?

— Медальон. Посмотреть.

Я сняла медальон через голову. Протянула. Его пальцы взяли его — тёплые, шершавые, в мозолях от меча и от поводов.

Тишина. Шорох — он поворачивал медальон к свету.

— «Э» и «А», — сказал граф. — Переплетённые. Хорошая работа. Столичная. Не меньше пяти крон стоит. — Пауза. — Откуда он у тебя?

— Мамин. Ала надел на меня на похоронах.

— А у мамы откуда?

— Не знаю. Она говорила — «“А” значит Анна. А “Э” — одно слово, на старом языке. Неважно».

— Какое слово?

— Она не говорила.

Граф помолчал.

— Агата, — сказал он. — Ты знаешь старый язык. Северный. Ядвига. Есть слово на «Э»?

Агата подумала.

— «Эльсе», — сказала она медленно. — «Любимая». Бабушка в дневнике так писала. Про дедушку. «Эльсе мой Казимир».

Тишина.

«Э» — «эльсе». Любимая. «А» — Анна.

Любимая Анна.

Кто-то подарил маме медальон с надписью «любимая Анна». Дорогой. Столичной работы. За пять крон. Маме, белошвейке с Кожевенной улицы, которая шила саваны для покойников за медяки.

И она вынула оттуда портрет. Ещё до моего рождения.

— Лотта, — сказал граф тихо. — Ты знаешь, кто твой отец?

Я молчала.

Я не знала. Ала не знал. Мама не говорила. Никогда. Ала спрашивал — один раз, когда ему было лет двадцать. Мама сказала: «Хороший человек. Который не мог. Не спрашивай больше». И Ала не спрашивал.

— Нет, — сказала я.

Граф вернул мне медальон. Я надела его. Он лёг на своё место. Под горлом. Тёплый. От графских пальцев.

— Ладно, — сказал граф. — Это — потом. Сначала — духи.

* * *

— Мне нужен нос, — сказал граф.

Тук-тук-тук. Снова.

— Мне нужен человек, который может войти в караван. Купить флакон. Поговорить с мадам. Погулять с Жюльеном. Послушать. Понюхать. Сказать мне, что он слышит. — Пауза. — Я туда войти не могу. Я — глава сыска, меня там знают, со мной будут осторожны. Лукас — то же самое. Аларик — инспектор, его там знают ещё лучше. Агата — Агата знаменита. — Пауза. — А Лотту там знают как... как слепую сестру инспектора. Которая гуляет с Жюльеном.

— Рэй, — сказала Агата.

— Я знаю, Агата.

— Ей восемнадцать.

— Я знаю.

— Она слепая.

— Это — её преимущество, — сказал граф. — Ты сама видишь. Она слышит то, чего никто не слышит. Она чувствует то, чего никто не чувствует. Она поймала Жюльена на лебедях, которые утки. — Он помолчал. — Я за три дня не поймал мадам ни на чём. А Лотта за один пикник — на трёх вещах.

— Рэй. Если с ней что-нибудь...

— С ней ничего не случится, — сказал граф. — Потому что с ней будет Петер.

Скрип стула. Сильный. Петер, кажется, чуть не упал.

— Я? — сказал он.

— Ты, — сказал граф. — Ты сам пришёл ко мне утром. Сказал — отец. Сказал — противодие от дремы не работает. Сказал — под фиалками что-то, что похоже на дрему. — Пауза.

— Ты единственный в Тихом Броде, кто знает, как пахнет дрёма изнутри. Кто её нюхал. Кто под ней ходил.

Тишина.

Я услышала, как у Петера сбилось сердце. Не как при вранье. Как будто его ударили.

— Простите, — тихо сказал граф. — Но это так.

— Так, — сказал Петер. Глухо.

— Мне нужен человек, который сварит противоядие от этого, — сказал граф. — От того, что в духах. Агата — занята сонником, у неё двести сорок три склянки в месяц. Ильзе нельзя к котлу. Мэтр Гроссе — лекарь, не зельевар. — Пауза. — Ты варишь противоядие лучше всех. После Агаты. Ты знаешь полынь. Ты знаешь, как пахнет то, что внутри. — Он помолчал. — И у тебя глаза хорошие. Ты видел медальон с мельницы.

Петер молчал.

— Лотта будет нос, — сказал граф. — Ты будешь глаза. И руки. Вдвоём.

Тишина.

Ядя у Агаты на руках завожилась. Сказала сонно: «Ота». И снова засопела.

— Ну? — сказал граф.

Я повернулась к Петеру.

Он сидел на краешке стула. Я слышала, как он дышит — тяжело, через нос. Как стучит сердце. Бух, бух, бух.

— Петер, — сказала я. — Ты будешь моими глазами?

Скрип.

Пауза.

— Б-буду, — сказал Петер.

* * *

Ала вернулся в шесть.

Я узнала об этом, потому что дверь нашего дома хлопнула. Не закрылась — хлопнула. Ала никогда не хлопает дверьми. Параграф какой-то. Он закрывает их аккуратно, до щелчка.

А тут — хлопнул.

Шаги. Быстрые. Неровные. Через прихожую — в гостиную.

— Лотта, — сказал Ала.

Я сидела у камина. С Ильзой на диване. С вдовой Мартенс у окна.

— Привет, Ала, — сказала я.

— Граф Холт, — сказал Ала. Голос у него был такой... Я не знаю. Такой, каким он разговаривал с мэтром Лейном. Два года назад. Ильза рассказывала. Ровный. Холодный. Очень тихий. — Граф Холт встретил меня у моста. И сказал, что взял тебя. На службу. В сыск. Внештатным... — Он запнулся. — «Нюхачом».

— Взял, — сказала я.

— Без моего ведома.

— Ты был в Глинске.

— Без моего согласия.

— Мне восемнадцать, Ала.

— Ты — слепая, — сказал Ала.

Тишина.

Даже спицы вдовы Мартенс остановились.

Он никогда так не говорил. Никогда. За девять лет. «Ты слепая». Он говорил «у тебя трость». Он говорил «параграф о вспомогательных средствах». Он говорил «осторожно, ступенька». Но никогда — «ты слепая». Как будто это — всё. Как будто это и есть я.

— Ала, — тихо сказала Ильза.

— Я знаю, что говорю, — сказал Ала. Голос у него дрожал. — Ильза. Я знаю. — Шаги. Он подошёл ближе. Сел — кресло напротив меня скрипнуло. — Лотта. Послушай. Положение о Королевском сыске, параграф сорок первый. «Внештатные сотрудники должны быть совершеннолетними, дееспособными и не иметь физических недостатков, препятствующих исполнению обязанностей». — Пауза. — Слепота — это физический недостаток. Препятствующий.

— Чему?

— Исполнению обязанностей!

— Каких? — спросила я. — Нюхать? Слушать? Ала. У меня обязанность — нюхать. Мне глаза для этого не нужны. Мне для этого нос нужен. И уши. — Я помолчала. — Покажи мне в своём параграфе, где написано, что нюхач должен видеть.

Тишина.

Шорох. Он открывал книгу. Свою. Листал.

Долго.

Шорох прекратился.

— Там не написано, — сказал Ала. Тихо.

— Вот.

— Там вообще не написано про нюхачей, — сказал Ала. — Нюхачей нет в Положении. Это... это граф выдумал.

— Значит, граф решает, — сказала я. — Не параграф.

С дивана — смешок. Ильзин. Сдавленный.

— Ильза, это не смешно, — сказал Ала.

— Очень смешно, — сказала Ильза. — Аларик. Она тебя побила твоими же параграфами. За одну минуту. Это прекрасно.

Ала молчал.

— Ала, — сказала я. Мягче. — Ты боишься.

— Да, — сказал он. Сразу. Без запинки. — Я боюсь, Лотта. Я девять лет боюсь. С той ночи. С каплями. — Голос у него сорвался. — Мама купила капли у человека, который сказал, что хочет помочь. А ты закричала. И я... я ничего не смог сделать. Я стоял рядом. Мне было двадцать один. Я держал тебя за руку. И ничего не мог.

У меня защипало в глазах. В тех, которые не видят. Они всё равно щиплют. И плачут. Это я тоже не знала, пока не ослепла.

— А теперь, — продолжал Ала, — приезжает другой человек. Который говорит, что хочет помочь. С флаконами. С каплями. — Пауза. — И ты к нему идёшь. Сама. На пикник. И граф тебя отправляет туда. Нюхать. — Он сглотнул. — Как я могу не бояться?

Я встала. Нашла его. Он сидел в кресле. Я опустилась на ковёр рядом. Взяла его руку. Пахнущую чернилами, бумагой и полынью.

— Ала, — сказала я. — Мне было девять. Я не знала, что в каплях. Мама не знала. Ты не знал. Никто не знал. — Я сжала его руку. — А сейчас — я знаю. Мотя сказала. Мандрагора. Я чувую её. Я знаю, что это. — Я помолчала. — Это не то же самое, Ала. Совсем не то же. Тогда — меня обманули. А сейчас — я иду их ловить.

Он молчал.

— И я не одна, — сказала я.

— А с кем?

— С Петером.

Пауза.

— С Петером, — повторил Ала. Медленно. — С сыном мельника.

— Да.

— Который приносит тебе цветы по средам.

Я покраснела.

— Откуда ты знаешь?

— Лотта, — сказал Ала. Почти мягко. — Весь город знает. Сорок семь сред. — Пауза.

— И у тебя в сундуке — коробка из-под Ильзиных леденцов.

Я замерла.

— Ты лазил в мой сундук?!

— Нет, — сказал Ала. — Вдова Мартенс сказала.

У окна — сдавленный писк. Вдова Мартенс.

— Простите, деточка, — сказала она. — Я пыль вытирала. А там — пахнет. Сонником.

На всю комнату. Я и открыла.

— Вдова Мартенс!

— Простите, простите!

С дивана — Ильза хохотала. Уже не сдерживаясь. В голос. Держась за живот.

— Ой, — стонала она. — Ой, не могу. Ой, он пинается. Ой, Лотта. Сорок семь сред!

Я сидела на ковре. Красная до ушей. Держа брата за руку.

А брат — я слышала — улыбался. Он улыбается беззвучно. Но у него меняется дыхание.

Становится чуть короче. На выдохе.

— Хорошо, — сказал Ала наконец.

— Что — хорошо?

— Хорошо, — повторил он. — Иди. Нюхай. — Пауза. — Но у меня условия.

— Какие?

— Первое. Ты никогда — никогда — ничего не ешь и не пьёшь в караване. Ничего. Даже воды.

— Хорошо.

— Второе. Ты никогда не ходишь туда одна. Только с Петером. Или с графом. Или с Лукасом. Или со мной.

— Хорошо.

— Третье, — сказал Ала. Помолчал. — Третье. Ты носишь с собой полынь. Всегда. В кармане. Мотя сказала Ильзе, Ильза сказала мне: горечь отрезвляет. Если что-нибудь почувешь — сразу к носу.

Я сунула руку в карман. Достала мешочек. Подняла.

— Уже, — сказала я.

Пауза.

— Ты носишь полынь, — сказал Ала. — В кармане.

— С прошлого лета.

— Зачем?

— Чтобы ты чихал, когда начинаешь про параграфы, — сказала я.

Тишина.

А потом мой брат — старший инспектор Палаты травников Короны, Аларик Ройс, самый невыносимый человек в королевстве — засмеялся. Вслух. Громко. Так, что Ильза на диване перестала смеяться и сказала: «Ой».

— Справедливо, — сказал он, отсмеявшись. — Справедливо.

И протянул руку. Я положила ему в ладонь мешочек.

Он поднёс его к лицу. Вдохнул.

— Апчихи! — Пауза. — Апчихи! — Пауза. — Апчихи!

Три. Как всегда. Правильно.

— Хорошее утро, — сказал он.

— Сейчас вечер, Ала.

— Всё равно, — сказал Ала. — Хорошее.

Глава 7. В которой Петер учится описывать, а Мотя плачет

— Повозка, — сказал Петер.

Мы стояли на краю площади. Утро. Солнце — я чувствовала его на левой щеке, тёплое. Ветер — с запада, с реки, несёт тину и лютики. И фиалки. Конечно, фиалки. Они теперь были везде. Даже у Бруны в пекарне хлеб пах фиалками — Бруна жаловалась.

— Какая повозка? — спросила я.

— Розовая, — сказал Петер.

— Какая розовая?

Пауза.

— Р-розовая, — сказал Петер. — Ну. Розовая. Как... розовая.

Я вздохнула.

— Петер. Ты мои глаза. Граф сказал. Я ничего не вижу. Мне надо знать, что ты видишь. Не «розовая». А как.

Скрип. Он переступал с ноги на ногу. Гравий под сапогами.

— Я не умею, — сказал он. Несчастно.

— Научишься. — Я подумала. — Вот. Розовая — как что? Как что-нибудь, что я помню. Я до девяти лет видела. Я помню цвета. Мне надо, чтобы ты мне их показал. Через то, что я помню.

Тишина. Долгая.

Я слышала, как он думает. Это было странно — слышать, как думает человек. Но у Петера так. Когда он думает, у него дыхание становится медленным. Глубоким. Как будто он поднимает мешок с мукой.

— Как поросёнок, — сказал он наконец. — После бани.

Я замерла.

Потом засмеялась. Громко. На всю площадь.

— Как поросёнок после бани! — повторила я. — Ох, Петер! Розовый, мокрый, блестящий?

— Да, — сказал Петер. Удивлённо. Как будто сам не ожидал. — Да. Блестящий. Их лаком покрыли. Повозки. И на солнце блестят. Как мокрые. И на боках — цветы нарисованы. Фиалки. Тёмные. Как... — Пауза. Думает. — Как синяк. Через неделю. Когда уже желтеет по краям.

Я перестала смеяться.

Это было... точно. Ужасно точно. Я помнила синяки. Я в детстве падала с крыши, с забора, с лестницы. Синяк через неделю — лиловый в середине, жёлто-зелёный по краям. Некрасивый. Больной.

Фиалки как синяк.

— Петер, — сказала я тихо. — Ты прекрасно описываешь.

Он ничего не ответил. Но сердце у него — бух-бух-бух — сбилось. И пошло быстрее.

* * *

Мы обошли всех.

Всех одиннадцать «влюблённых». И ещё четверых, которые «влюбились» за выходные. Пятнадцать.

Я нюхала. Петер смотрел.

Это было... страшно. И грустно. И немножко смешно. Всё сразу.

Бургомистр Пим сидел на крыльце своего дома и вырезал из дерева сердечко. Ножиком. Неумело. Палец у него был порезан — Петер сказал, «весь в мелких порезах, как у Торвальда, когда он учеником был». Пим вырезал сердечко для жены. Сорок первое. Она их выбрасывала в окно. Он вырезал новые.

От него пахло — Пимом. Потом, табаком, чернилами — он бургомистр, у него чернила. И — на воротнике, на рукавах, на волосах — фиалками. Чужими. Не его. Её. Марты Пим. Он её нюхал. Он её так близко держал, обнимал, что её фиалки остались на нём.

А в нём самом — в дыхании, в коже, где-то внутри — тонко, едва-едва, сладко-горько. Сахар на больном зубе.

Мандрагора.

Сердце — тук-тук, пауза, тук.

Глаза — Петер сказал — «как у рыбы на прилавке. Мокрые. Блестят. А не смотрят».

Хромой Олаф сидел на ступеньках храма. Каждый день. С утра до вечера. Жрица Олеа его не пускала. Он сидел и пел. Старые песни. Про Северный поход. Про рыцаря Годрика. Он их всегда пел — но раньше громко, весело, в «Хромом гусе». А теперь — тихо. Под дверь.

От Олафа пахло старостью, пивом, деревянным костылём. И — фиалками. Из храма. Сквозь дверь. Жрица Олеа всё ещё душилась. Ей подарили — она душилась. Она старая. Она не понимала.

— Он похудел, — сказал Петер. — Сильно. Щёки ввалились. Руки дрожат. Он не ест, Лотта. Мне Йорген сказал. Неделю не ест.

— Как твой отец.

— Как мой отец, — сказал Петер. Глухо.

Сын мясника сидел у лавки вдовы Шнайдер. С мандолиной. Он пел ей серенады. Ему шестнадцать. Ей сорок пять. Вдова Шнайдер закрыла лавку. Сидела внутри и боялась выйти.

Кузнец Торвальд не работал третий день. Кузня остыла. Он ходил за женой. Как телёнок. Жена Торвальда сначала радовалась — «двадцать лет не обнимал, а тут!» А потом — испугалась. Пришла к Агате. Плакала.

— Он меня по имени не зовёт, — сказала она. — Двадцать лет звал «Гертой». А теперь — «моя звезда». «Моя заря». «Моя единственная». А по имени — нет. Как будто забыл, как меня зовут. Как будто... — Она всхлипнула. — Как будто это не я. Как будто ему всё равно, кто. Лишь бы фиалками пахла.

* * *

Мы вернулись в школу к обеду.

Агата отдала нам маленькую комнату в учительском крыле. Ту, где раньше жил мэтр Лейн. Два года назад. Там всё переделали — стены побелили, мебель поменяли, окно расширили. Но Ильза всё равно туда не заходила. Говорила: «Там до сих пор бергамотом пахнет».

Пахло не бергамотом. Пахло известью, свежим деревом и ромашкой — Агата повесила пучок над дверью. От дурных снов.

Петер поставил на стол медный котелок, ступку, весы. Скланки. Спиртовку. Принёс из лаборатории. Сам. Агата разрешила.

И — флакон. Маленький, розовый, с золотой пробкой. Мамин. С каплей на дне.

— Мне надо знать, что в нём, — сказал Петер. — Всё. До крупинки. Тогда я смогу сварить противоядие.

— Мотя знает, — сказала я. — Мандрагора.

— Мандрагора — это не всё, — сказал Петер. — Мандрагора — это... — Он подумал. — Это мука. Основа. А хлеб — не только из муки. Там ещё дрожжи. Соль. Вода. Закваска. — Пауза. — Мне надо знать закваску.

Я подняла голову.

Петер Мельник, сын мельника, который за год сказал мне от силы двадцать фраз, только что объяснил мне алхимию через хлеб. Понятно. Точно. Без единой запинки.

Он не заикался. Совсем. С того момента, как мы вошли в эту комнату и он поставил котелок на стол.

— Петер, — сказала я.

— Да?

— Ты не заикаешься.

Пауза.

— Не заикаюсь, — сказал он. Удивлённо. Как будто только что заметил. — Это... Это когда я работаю. Когда котёл. Тогда — нет. — Пауза. — А когда ты... Когда ты на меня смотришь... — Он запнулся. — Ну. Ты не смотришь. Но... Ну, ты поняла.

Я поняла.

Я ничего не сказала. Только улыбнулась.

Он, кажется, увидел. Потому что сердце у него — бух — подпрыгнуло. И он отвернулся к котелку. И очень громко загремел склянками.

* * *

Он работал до вечера.

Я сидела рядом. Нюхала. Каждый раз, когда он что-то делал с каплей из флакона — разводил в воде, нагревал, смешивал с солью, с уксусом, с известью, — он подносил мне склянку. Я нюхала. Говорила, что чую.

— Фиалки. Сверху. Громко.

— Хорошо. — Шорох. Он записывал. Углём на доске — у него не было бумаги, он сказал, мелом и углём привычнее, на мельнице так мешки помечают. — Дальше.

— Мандрагора. Под фиалками. Сладко-горько.

— Хорошо. Дальше.

— Спирт. Винный.

— Хорошо.

— Мускус. Чуть-чуть.

— Хорошо.

— И... — Я замолчала.

Там было ещё что-то. Глубоко. На самом дне. Под мандрагорой. Под мускусом. Тонкое-тонкое. Тёплое. Солоноватое. Как...

Как кожа.

Как пот. Человеческий.

— Петер, — сказала я тихо. — Там человек.

Скрип. Он обернулся.

— Что?

— Там — человек, — повторила я. — Запах человека. Пот. Или... или кровь. Немножко. Солёное. Тёплое. Живое.

Петер молчал.

— Чей? — спросил он.

Я понюхала ещё раз. Долго. Глубоко.

Под всем этим — фиалки, мандрагора, мускус, спирт — тонкий, слабый, но отчётливый запах. Тёплый. Женский. С чем-то старым, сладким, церковным.

Мирра.

Я замерла.

Мирра. Я знала этот запах. Откуда-то. Очень давно. Очень-очень давно. До того, как ослепла. В какой-то комнате. Тёмной. Душной. Где пахло лекарствами и болезнью. И кто-то стоял у двери. И от этого кого-то пахло — миррой.

— Мадам, — прошептала я. — Это — мадам Мирр. Её запах. В духах. Внутри.

Петер долго молчал.

Потом взял уголь. Записал что-то на доске. Я слышала, как скрипит уголь. Медленно. Буква за буквой.

— Значит, так, — сказал он. Медленно. Как будто думал вслух. — Мандрагора — привязывает. Фиалки — маскируют. А её запах — это... к кому привязывает. Как... — Пауза. — Как клеймо на мешке. Чей мешок.

— Но мой отец... — Он запнулся. — Но мой отец влюбился не в мадам. В маму. Мама надушилась — и он влюбился в маму. Не в мадам.

Я подумала.

— Потому что ему сначала мама попалась, — сказала я медленно. — Мама надушилась. Утром. Отец проснулся — и первое, что учуял, — духи на маме. И первое, что увидел, — маму. — Я помолчала. — Её запах в духах — это... не клеймо, Петер. Это крючок. Он цепляет. А кого первым увидишь, к тому и привяжет.

— А если первой увидишь мадам?

— Тогда — к мадам.

Тишина.

Петер медленно отложил уголь.

— Она могла бы, — сказал он. — Если бы захотела. Надушиться сама. Своими духами. И подойти к кому угодно. И тот — к ней. Навсегда.

— Или Жюльен, — сказала я.

— Или Жюльен, — повторил Петер. Очень тихо.

И сердце у него стукнуло. Тяжело. Один раз. Как будто упал мешок.

* * *

Мотю мы позвали вечером.

Тим принёс её в нашу комнату. Поставил на стол. Рядом с котелком. Кеша прилетел сам — сел на подоконник и молчал.

Мотя посмотрела — ну, повернула листья — на доску. На записи углём. Петер прочитал вслух. Мандрагора. Фиалки. Musk. Спирт. Человеческий пот. Мирра.

Мотя долго молчала.

— Корень, — сказала она наконец. — Какой корень? Слепая. Понюхай ещё. Какой корень?

— Мандрагора.

— Я знаю, что мандрагора. — Голос у неё был странный. Хриплый. — Какая? Старая? Молодая? Южная? Северная? Мужская? Женская?

Я не понимала.

— Мотя, я не знаю. Я не различаю мандрагор.

— Понюхай, — сказала Мотя. — Понюхай меня. Потом — склянку. И скажи. Похоже?

Я наклонилась к Моте. Осторожно. Мотя не любит, когда к ней близко. Но сейчас — молчала. Терпела.

Мотя пахла землёй. Тёплой, рыхлой, жирной. Корнями. Чем-то старым-старым, как дерево в лесу, которому сто лет. И — чуть-чуть — элем. Тёплым. Кеша вечно таскал ей эль.

Потом я понюхала склянку.

Сладко-горько. Сахар на больном зубе. И — где-то там, под сладостью, под горечью, — земля. Тёплая. Корни. Что-то старое-старое.

Похоже.

Очень похоже.

Только в склянке — мёртвое. Сухое. Толчёное.

— Похоже, — прошептала я.

Мотя закрыла глаза.

— Южная, — сказала она тихо. — Женская. Старая. Лет сорок. Как я. — Пауза. — Её вырыли. Сорокалетнюю. Из земли. Без наушников. Она кричала, наверное. Ох, как она

кричала. Кто вырывал — оглох, наверное. Или умер. — Мотя помолчала. — А её — высушили. И в ступку. И в порошок. И в фиалки.

Тишина.

Кеша на подоконнике перестал перебирать лапками.

— Мотя, — сказала я.

— Сорок лет, — сказала Мотя. — Сорок лет она где-то росла. В чьём-то саду. Или в лесу. Может, тоже с кем-то разговаривала. Может, у неё тоже кто-то был. Ядвига. Или пернатый. — Голос у неё сорвался. — А её — в ступку.

И Мотя заплакала.

Я никогда не слышала, как плачут мандрагоры. Это было... тихо. Совсем не так, как они кричат. Тихо-тихо. Как ветер в сухих листьях. Как шорох земли, которая осыпается.

Кеша слетел с подоконника. Сел на край горшка. Близко-близко. Прижался к Мотиным листьям.

— Мотя хорошая, — сказал он. Тихо. — Мотя хорошая. Мотя хорошая.

Мотя плакала.

А Петер — я слышала — стоял у котелка. И сердце у него стучало тяжело. Медленно. Как будто он поднимал что-то очень тяжёлое.

— Я сварю, — сказал он вдруг. Тихо. Твёрдо. Без единой запинки. — Противоядие. Матильда Ядвиговна. Я сварю. Честное слово. Чтобы ни одна... ни одна из них... — Он не договорил.

Мотя перестала плакать.

Помолчала.

— Варишь ты хорошо, — сказала она. Ещё хрипло. — Агата говорит. Рука твёрдая. — Пауза. — Полынь. Ядвига говорила — полынь. Горечь отрезвляет. Как пощёчина. — Она помолчала ещё. — И роса. И что-нибудь, что будит. Сонник, может. Как для дрёмы. — Пауза. — Только не так, как для дрёмы. Дрёма — усыпляет. А это — привязывает. Тут надо не будить. Тут надо — отвязывать.

— Как? — спросил Петер.

— Не знаю, — сказала Мотя. — Ядвига не успела мне рассказать. — Она помолчала. — Но ты придумаешь. Ты — сын мельника. Ты знаешь, как отвязывать мешки от телеги.

Петер ничего не ответил.

Но я услышала, как он берёт уголь. И что-то пишет на доске. Долго. Медленно.

* * *

Поздно вечером — Тим уже унёс Мотю, Кеша улетел за ней, — в дверь постучали.

Тихо. Три раза.

Петер открыл.

На пороге стояла Нелли. Запахавшаяся. С письмом в руке.

— Лотте! — выпалила она. — Принесли! Только что! В школу! Мальчишка какой-то, с площади! Сказал — для слепой мадемуазель Ройс! От... — Она понизила голос. — От тётки с перьями!

Петер взял письмо. Я слышала, как оно хрустит — плотная бумага, дорогая.

И запах.

Фиалки.

— Читай, — сказала я.

Петер развернул. Помолчал. Потом прочитал. Медленно. Неуверенно — он плохо читал, мельник его учил только счёту.

«Дорогая мадемуазель Ройс.

Мой племянник Жюльен без ума от вас. Он только и говорит, что о вашем удивительном даре. О вашем носе, о вашем слухе. Я бы очень хотела познакомиться с вами поближе.

Позвольте пригласить вас на чай. В четверг, в пять часов пополудни, в наш шатёр на площади. Будут лучшие южные сладости. И я покажу вам свою коллекцию ароматов — уверена, вам будет интересно.

Приходите с другом, если пожелаете.

С искренним уважением,
мадам Сильвана Мирр.

Р. S. Какой у вас прелестный медальон. Жюльен рассказывал. Семейный, должно быть?»

Петер замолчал.

Тишина.

Нелли в дверях не дышала.

Я подняла руку к горлу. К медальону. «Э» и «А». «Эльсе». Любимая. Анна.

— Не ходи, — сказал Петер. Тихо. — Лотта. Не ходи.

— Пойду, — сказала я.

— Лотта...

— «Приходите с другом», — сказала я. — Ты мой друг, Петер?

Пауза.

Долгая.

Бух. Бух. Бух.

— Д-да, — сказал Петер.

Заикнулся. Опять.

Значит, я на него смотрела.

— Тогда пойдём вместе, — сказала я. — И ничего не будем ни есть, ни пить. Ала велел. А ты будешь моими глазами. И будешь смотреть. На всё. И на её руки.

— На руки?

— На руки, — сказала я. — Ты сам сказал. Корвин смотрел на Агатины руки. Как на вещь. — Я помолчала. — Мне надо знать, на что смотрит мадам.

Глава 8. В которой Петер пьёт мой чай

Шатёр мадам Мирр стоял посреди площади, между двумя розовыми повозками. Высокий. Круглый. Я узнала, что круглый, потому что Петер сказал:

— Как... как пирог. Перевернутый. Круглый, высокий, и верх — острый. Шпилем. На шпиле — флажок. Лиловый.

— Из чего?

— Из шёлка, — сказал Петер. — Полосатого. Розовое и золотое. Полосы — широкие. Как... как на матрасе у Бруны. — Пауза. — Только шёлк.

Я улыбнулась.

Он учился. Быстро. За три дня он научился описывать так, что я почти видела. Он говорил смешно, странно, через мельницу, через хлеб, через мешки и через Брунины матрасы. Но — точно. Каждый раз — точно.

Ала описывал мне мир девять лет. Правильно, по пунктам, через «цвет такой-то, форма такая-то, размер такой-то». Я его понимала. Но не видела.

А через Петера — видела.

* * *

У входа в шатёр нас встретил Жюльен.

Фиалки. Волной. Я сунула руку в карман, сжала мешочек с полыньёю.

— Мадемуазель Ройс! — Голос — бархатный, радостный. Тук-тук-тук-тук. Ровно. — Как я счастлив! И... — Пауза. Маленькая. — И ваш друг. Сын мельника. Петер, кажется?

— Петер, — сказал Петер.

— Добро пожаловать, Петер, — сказал Жюльен. — Проходите. Тётушка ждёт.
Шорох. Он откинул полог.

Внутри было тепло. Душно. Пахло так, что у меня закружилась голова.

Фиалки. Розы. Жасмин. Ландыш. Сирень. Мускус. Амбра. Ваниль. Корица. Сандал. Всё сразу. Как будто кто-то разбил сотню флаконов на полу. Как в лавке у южного торговца, о которой рассказывала вдова Мартенс, — она бывала на юге в молодости.

Я остановилась на пороге. Зажмурилась — по привычке, хотя это ничего не меняет.

— Лотта, — шепнул Петер мне на ухо. — Ты в порядке?

— Много, — прошептала я. — Слишком много. Я ничего не различаю.

— Держись за меня.

Я взяла его под руку. Его рука — твёрдая, большая, тёплая. Под пальцами — рукав рубахи. Грубый лён. Пахнет мукой.

Это помогло. Немножко. Как будто среди сотни запахов — один знакомый. Свой. Якорь.

— Опиши, — шепнула я.

Петер помолчал.

— Внутри — красное, — сказал он тихо. Мне в ухо. — Ковры. Подушки. Много подушек. На полу. Как... как сено в амбаре. Только шёлковое. Низкий стол. Медный. Круглый. Блестит. На столе — чашки. Пять. Маленькие. Как напёрстки. Белые. С золотом. Чайник. Медный. С длинным носом. Как цапля. Сладости. Много. На блюдах. Розовые, жёлтые, белые. Как... как камешки на реке. — Пауза. — И полки. Вдоль стен. До верха. На полках — флаконы. Сотни. Разные. Стекланные. Разноцветные. Как... как леденцы у Ильзы в коробке.

— А мадам?

Пауза.

— Сидит, — сказал Петер. — На подушках. В центре. В лиловом. Платье — как... как баклажан. Блестящее. Перья на голове. Лиловые. Как... как хвост у петуха. Только лиловый. Лицо — белое. Напудренное. Как мука. Губы — красные. Как... — Пауза. — Как вишня. Давленная.

— Глаза?

Пауза. Длинная.

— Смотрят, — сказал Петер. Совсем тихо. — На тебя. Не на лицо. — Пауза. — На медальон.

* * *

— Мадемуазель Ройс!

Голос. Бархатный. Низкий. Сладкий. С южным выговором. Гладкий, как масло.

У меня по спине побежали мурашки. Как в первый день.

— Мадам Мирр, — сказала я.

— Садитесь, садитесь, дорогая! Вот здесь, рядом со мной! На подушки! Жюльен, помоги мадемуазель! Ах, бедняжка. С тростью. Как трогательно.

Шорох. Руки Жюльена — на моём локте. Прохладные. Пахнут фиалками. Петер не отпустил мой другой локоть. Мы сели — я на подушку рядом с мадам, Петер — рядом со мной. Жюльен — напротив.

Мадам Мирр была совсем близко. На расстоянии вытянутой руки.

Фиалки. Конечно. Громко. Сладко.

А под фиалками...

Я задержала дыхание. Потом вдохнула. Медленно. Глубоко.

Под фиалками — женщина. Тёплая кожа. Пудра — рисовая. Помада — вишнёвая. Шёлк — нагретый телом. Вино — сладкое, южное, она пила недавно.

И — мирра.

Глубоко. На самом дне. Тёплая, смолистая, сладкая, церковная. Как в храме на Кожевенной улице, куда мама водила нас с Алой по праздникам. Как ладан, только тяжелее.

Как в той комнате.

Тёмной. Душной. Где пахло лекарствами и болезнью. Где на кровати лежала мама — кашляла, кашляла, кашляла. А у двери стоял кто-то. И от этого кого-то пахло миррой.

Мне было девять. Это было после капель. Я уже не видела. Я только слышала. Голос. Женский. Тихий. Гладкий. Как масло.

«Он велел передать. Это — последнее. Больше не будет».

И звон. Монеты. Много монет. В мешочке.

И мамин голос. Слабый. «Уходите».

Я сидела на шёлковой подушке в шатре мадам Мирр. И не могла дышать.

— Мадемуазель? — Голос мадам. Ласковый. — Вам нехорошо? Здесь душно, я понимаю. Ароматы. Для непривычного носа...

— Нет, — сказала я. Мой голос прозвучал странно. Чуть выше, чем обычно. — Всё хорошо. Просто... очень много.

— Ах, я понимаю! — Мадам засмеялась. — Жюльен говорит, у вас удивительный нос. Самый чуткий в округе. — Шорох. Она наклонилась ко мне. Мирра. Ближе. — Скажите. Что вы чувствуете? Здесь? Сейчас?

Я сжала руку Петера. Под шёлковой подушкой. Он сжал в ответ.

— Фиалки, — сказала я. — Розы. Жасмин. Ландыш. Сирень. Мускус. Амбра. Ваниль. Корица. Сандал.

— Изумительно! — воскликнула мадам. — А ещё?

Мирра, подумала я. Мирра. Вы.

— Сладости, — сказала я вслух. — На столе. Медовые. С орехами.

— Изумительно! — повторила мадам. — Жюльен, ты слышишь? Она различает даже сладости! Сквозь всё это! — Пауза. — Какой дар. Какой редкий дар. — Ещё пауза. Её пальцы — я почувствовала — коснулись моего горла. Легко. Как бабочка. Медальона. — И какой прелестный медальон. Можно?

Я не ответила.

Её пальцы взяли медальон. Повернули. Я чувствовала, как цепочка натягивается на шее.

— Старинная работа, — сказала мадам задумчиво. — Столичная. «Э» и «А». — Пауза. — Фамильный?

— Мамин, — сказала я.

— А мама ваша... — Пальцы всё ещё держали медальон. — Анна, если не ошибаюсь?

Тишина.

Я не говорила. Я никогда не говорила ей. И Жюльену не говорила. Никому в караване. Я сказала «мамин». И всё.

— Откуда вы знаете? — спросила я. Тихо.

Пауза.

Совсем маленькая. Меньше вдоха.

А потом — смех. Мадам Мирр засмеялась. Бархатно. Легко.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.